

- [Вячеслав Яковлевич Шишков](#)

- [Глава 1](#)
- [Глава 2](#)
- [Глава 3](#)
- [Глава 4](#)
- [Глава 5](#)
- [Глава 6](#)
- [Глава 7](#)
- [Глава 8](#)
- [Глава 9](#)
- [Глава 10](#)
- [Глава 11](#)
- [Глава 12](#)
- [Глава 13](#)
- [Глава 14](#)
- [Глава 15](#)
- [Глава 16](#)
- [Глава 17](#)
- [Глава 18](#)
- [Глава 19](#)
- [Глава 20](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)

---

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

**Вячеслав Яковлевич Шишков**

**Ватага**

# Глава 1

— Здорово, хозяйюшка. А где сам-то? — Один — усатый, другой — щупленький парнишка с птичьим лицом остановились в дверях, с ног до головы облепленные снегом.

Высокая чернобровая Иннокентьевна, в черной кофте, черной кичке, как монахиня, подала им веник:

— Идите, отряхнитесь в сенцах. Нету его. В бане он.

— Может, скоро придет? — спросил одетый по-городски парнишка.

— А кто его знает. Поглянется — до петухов присидит. Париться даже горазд. А вы кто такие?

— Из городу. По экстренному делу. Вот бумага.

Вскоре оба пошагали к бане, в самый конец огромного двора.

Весь двор набит заседланными конями и народом. Горели три больших костра, было светло, как на пожаре.

Из бани выбежал голый чернобородый детина, кувырнулся в сугроб и, катаясь в глубоком снегу, гоготал по-лошадиному.

— Он, кажись, — сказал усач. — Товарищ Зыков, ты?

— Я, — ответил голый и поднялся.

Он стоял по колени в сугробе. От мускулистого огромного тела его струился пар. Городскому парнишке вдруг стало холодно, он задрал кверху голову и изумленно смотрел Зыкову в лицо.

— Мы, товарищ Зыков, к тебе, — сказал усач. — Да пойдем хоть в баню, а то заколеешь.

— Говори.

— Город в наших руках, понимаешь... А управлять мы не сможем. Вот, к тебе...

— Вы не колчаковцы?

— Тьфу! Что ты... Мы за революцию.

Зыков от холода вздрогнул, лякнул зубами:

— Айдайте в избу. Я сейчас... — И легким скоком, как олень, побежал в баню.

В бане, словно в аду: пар, жиханье обжигающих веников, гогот, ржанье, стон.

— Хозяин, берегись!

В раскаленную каменку широкоплечий парень хлобыснул ведро воды. Шипящим бешеным облаком белый пар ударил в потолок, в раму: стекло дзинькнуло и вылетело вон.

— Будя! — заорали на полке и кубарем вниз головой. — Людей сварить, чорт... ковшом надо... А ты чем! Чорт некованный.

— Живчиком оболакайтесь, — приказал Зыков. — Гости из городу. Дело будет.

Сотник, десятник, знаменщик быстро стали одеваться.

В просторной горнице с чисто выбеленными стенами было человек двадцать. Бородатые, стриженные по-кержацки, в скобку, сидели в переднем углу на лавках. Лампа светила тускло, все они оказывали на одно лицо. Это кержаки стариковского толку. Рядом с ними, до самых дверей — крестьяне среднегодки и молодежь. Тепло. Шубы, меховые азямы навалены в углу горой. Под образами, за столом — два гостя и хозяин с хозяйкой — пьют морковный чай. Вместо сахара — мед. От сдобы и закусок ломится стол.

Городской парнишка в пиджаке вынул кисет и трубку.

— Иди-ка, миленький, во двор: мы табашников не уважаем, — ласково и, чуть тряхнув головой, сказала хозяйка.

Парнишка вопросительно поднял на нее глаза, она ответила ему веселым, но строгим

взглядом, парнишка покраснел и спрятал кисет в штаны.

Вместе с клубами мороза вошло еще несколько человек.

— Все? — окинул хозяин собрание взглядом.

— Телухина нет.

— Телухина я отпустил на три дня домой, в побывку, — сказал хозяин. — Вот, братаны, из городу комиссия. При бумаге, форменно. Дай-ка, Анна, огарок сюда.

Иннокентьевна зажгла толстую самодельную свечу. Хозяин неуклюжими пальцами взял со стола бумагу:

— А ну, братаны, слушай.

Все откашлялись, выставили бороды, смолкли.

Зыков, шевеля губами, сначала прочел бумагу про себя. Городские не спускали с него глаз.

В синей рубахе, плотный и широкоплечий, он весь — чугунок: грузно давил локтями стол, давил скамью, и пол под его ногами скрипел и гнулся.

— Кха! — густо кашлянул он, комариком кашлянул пустой стакан и кашлянуло где-то там, за печкой.

«Начальнику партизанского отряда тов. Зыкову по экстренному делу в собственные руки просьба», — начал он низким грудным голосом.

«Товарищ Зыков и вы, партизанские орлы. Вследствие того, как по слухам красные войска перевалили Урал и берут Омск, а в Тайге восстанье, мы большевики вылезли из подполья и сделали переворот и забрали власть в руки трудящих. Как попы, которые организовали дружины святого креста для погрома, так интеллигенты и буржуи посажены в острог, а которые окончательно убиты и изгнаны из пределов городской черты. Вследствие того как нас большевиков мало и сознательный городской элемент в незначительном размере, то гидра контр-революции подымает голову. Необходим красный террор и красная паника, иначе нас всех перережут, как баранов, и нанесут непоправимый ущерб делу свободы. Белые дьяволы, колчаковцы с чехо-собаками или прочая другая шатия вроде мадяров с лигионом польских уланов полковника Чумо, они белогвардейцы того гляди пришлют отряд и захватят нас живьем врасплох. Ежели вы не подадите немедленную помощь, это будет с вашей стороны нож в спину революции. Остальное по пунктам об'яснят вам наши делегаты, товарищи Рыжиков и Пушкарев».

— Подписано — председатель Временного комитета Революционного переворота А. Тр... — Зыков замялся, наморщил нос, прищурился.

— Александр Трофимов, — подсказал усач.

— А-а... Ну-ну... Знаю Сашку Трофимова. Ничего...

Наступило минутное молчание. Все выжидательно пыхтели. Зыков как бы раздумывал, наконец, сказал: — Та-а-к, — отложил бумажку, дунул на свечку и прижал светильню пальцами, как клещами. Открытое, смелое с черной окладистой бородой лицо его было красно и потно. То-и-дело он вытирался рушником.

— Ну, как, братаны? Печать и все... Бумага форменная, — и стальные, выпуклые с черным ободком глаза его уперлись в зашевелившиеся бороды.

— Надо подмогу дать, — тенористо, распевно сказала чья-то борода, и из полумрака сверкнули острые глазки.

— Главная суть в том, товарищи партизаны, — начал городской усач и зарубил ладонью воздух, — взять-то мы власть, конечно, взяли, а чтоб пустить машину в ход — гайка слаба. Например, крепость, конечно, в ихних руках, там десятка три солдатни с комендантом. Конечно, мы ее обложили, но мало ли какие могут произойти противоположные последствия, вы сами понимать должны, раз мы, почитай, без всякого вооружения. Надо организовать

питание, надо устроить связь с центром, мы же ничего не знаем, сидим, как на острове, перед носом, значит, крепость, а граждане неизвестно в каких мыслях. Нужен, конечно, красный террор, в первую голову. Например, Красная армия, ежели где ущемит эту белую банду, перепиливают напополам, отрубает руки, носы, вытыкают глаза, с живых сдирают кожу...

— Врешь, — удивленно перебил хозяин. — Ране они этого, говорят, не допускали. Откуда знаешь?

— Из газет, — враз сказали городские. — В газетах в ихних же, в колчаковских, в Томском печатают.

— Вот, — и парнишка выхватил из пиджака свернутую газету, посыпалась махорка, Иннокентьевна плюнула и сердито вышла.

— Ладно, не помрешь, отмолишь, — сказал ей вслед Зыков и поднес газету к глазам.

— Вот, читай: «Зверства красных», — указал парнишка.

Хозяин, двигая густыми черными бровями, зычно и медленно прочел. Все бороды оцетинились, рты открылись, потекла слюна.

— Эту тактику красных героев и вам, товарищи, надо перенять. Тактика, конечно, верная, — сказал усач, прожевывая шаньгу с медом.

Среди горницы, в желто-сером полумраке стоял с нагайкой в руке корявый, большеголовый парень. Ноздри его вздернутого носа злобно раздувались, черная папаха сдвинута на затылок. Он ударил нагайкой в крашенный пол и простуженной глоткой гнусаво задудил:

— А слышали, что чехо-собакам самолучшая земля Колчаком обещана, крестьянская? Вроде помещиков будут. За то, что нашу кровь льют... Слышали?

— Слышали.

— Не бывать тому! — хлестнул он нагайкой. — Кто они, растуды их? Откуль взялись? По какому праву?

— Приблуды-дыши!..

— А слышали, как нашу Мельничную деревню белый отряд живьем сожжет? Большевиками прикинулись. «Мы, мол, красные, преследуем белую сволочь, укажите, куда белые ушли, мы их вздрючим. Вы, ребята, за кого, за нас, за красных?» — «За красных». — «Вся деревня?» — «До единого». Отошли, да и грохнули из пушек. Ночь, пожар. Ни одного человека не осталось. Слышали? — Голос его дрожал, всхлипывал и рвался.

— Слышали, слышали...

— Ага! Вы только слышали, а мои батька с маткой да братишки изжарились, костей не соберешь. Э-эх! — он грохнул папаху о пол, засопел, засморкался и кривобоко, пошатываясь и скуля, пошел к двери.

А на дворе светло и весело: огни костров мазали желтым окна, с присвистом и гиком ломилась в стекла песня, тихо падал снег.

В горнице молчали. Только слышались пошепки и вздохи, да сердито скреб жесткую, как проволока, давно небритую щетину на щеке городской усач, — щетина звенела. Хозяйка перетирала посуду и, вскидывая носом вверх, звонко икала, словно перепуганная курица.

— Зыков! Батюшка Зыков, отец родной... Защиты прошу. — Парень с нагайкой опять шагнул от двери и, раскорячившись, повалился в ноги Зыкову. — Весь корень наш порешили... Сестренку четырех лет, младенчика...

— Ладно, — сказал хозяин. — Встань.

Парень вскочил и словно взбесился.

— У-ух! — он опять хватил папаху об пол и стал топтать ее каблуками, как змею. — В куски буду резать. Кишки выматывать... Только бы встретить... Кровь, как сусло, потекет... У-ух!.. Зыков, коня! Коня давай!! — и с лицом, похожим на взорвавшуюся бомбу, он саданул

каблуком в дверь и выбежал.

Кто-то хихикнул и сразу смолк.

— Вот до чего довели народ, — тихо сказал Зыков. Он задвигал бровями, густыми и черными, похожими на изогнутые крылья, и глаза его скосились к переносице.

Изба замерла.

— Утром, по рожку, седлать коней. Четыре сотни, — как молот в железо, бухали его слова. — Вьючный обоз. Два пулемета. До городу сто двадцать верст. Через десять верст дозорных и пикеты связи. Пятая и шестая сотня здесь, под седлом. Тринадцатой и одиннадцатой сотне, что на заслоне к Бийску, отвезть приказ: до меня сидеть смирно, набегов ни-ни. А то ерунды напорют.

— Кто отряд в город поведет? — поднялся и подбоченился Клычков.

— Сам, — резко ответил хозяин и покосился на жену.

— Сам, сам... — с сердцем сунула она пустую кринку. — Башку-то свернут... Вояка. Сам! — и по ее сухому строгому лицу промелькнули тенью печаль и страх.

— Брось, не впервой, — ласково, жалеючи, сказал Зыков.

Он поднялся во весь свой саженный рост и накинул на одно плечо полушубок:

— В моленную!.. Которые стариковцы — айда за мной.

Снег все еще падал, пушистый и пахучий. Похрюкивали свиньи, где-то над головами прогорланил ночной петух, отфыркивались кони.

Приударь, приударь!

Еще разик приударь!..

Песня и хохот у костра возле ворот разрывали и толкли желто-белую мглу ночи.

— Детки, потише вы. Шабаш! Эй, которые стариковцы... В моленную!

Моленная — в нижнем этаже. Там же, в каморке, в боковуше, живет отец Зыкова, кержацкий кормчий, старец Варфоломей.

В моленной тьма. Пахло ладаном, ярим воском и неуловимой горечью слез и вздохов. Вздохи и шопот молитв повисли, запутались в тайных углах и ждали.

Зыков высек о кремень искру, затлелся трут, и во тьме, как светлячки, заколыхались сонные огни свечей.

Стены были темные, прокоптелые, воздух темный. Серебряные венчики потемневших стародавних икон сонно заблестели, и Нерукотворный Спас, сдвинув брови, скорбно смотрел желтыми глазами Зыкову в лицо.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — глубоко вздохнув, смущенно прошептал Зыков; он на цыпочках пересек моленную и открыл дверь в боковушу. — Родитель батюшка...

Старик спал на спине. Широкая, седая борода его покрывала грудь. Руки сложены крестообразно, как у покойника. Большая свеча возле настенного образа чадила, отблеск света елозил по оголенному черепу старца. На аналое — толстая, с застежками книга. В углу стоит кедровая колода-гроб. На крышке черный восьмиконечный крест.

Зыков снял со свечи нагар и внимательно всмотрелся в лицо отца.

— Спит.

Народ прибывал. В моленной полно. Запахло кислятиной промокших овчин, луком и потом.

Шорохом ширился шопот, и повертывались кудластые головы к келье старца.

— Отцы и братия, — появился Зыков с зажженной свечей в руке. — Родителю недужится, почивает. Совершим чин без него, соборне, еже есть написано.

И ответил мрак:

— Клади начал. Приступим с верою и радением. Аминь.

Натыкаясь вслепую друг на друга, — только маленькие оконца багровели, — кержаки сняли с гвоздей лестовки, разобрали коврики-подручники — с ладонь величиной, что подстилают под лоб при земных поклонах, и чинно встали на места.

Возгласы чередовались с пением хором, вздохи — с откашливанием и стенанием. Сложенные двуперстно руки с азартом колотились в грудь и плечи, удары лбами в пол были усердно-гулки.

Зыков кадил иконам, кадил молящимся, внятно читал с завойкою по книге. Чмыкали носы, по бородам катились слезы. У Зыкова тоже зарябило в глазах: Нерукотворный Спас взирал на него уныло.

— Трижды сорок коленопреклоненно, Господи помилуй рцем...

И мололи тьму и сотрясали кедровый пол бухавшие земно великаны.

Благочестивое пыхтенье, вздохи, стоны прервал громкий голос Зыкова:

— Помолимся, отцы и братия, от всея души и сердца, по-своему, как Господь в уста вложил.

— Аминь.

Он уставился взором в строгий Спасов лик, воздел руки, запрокинул голову, — черные волосы взметнулись:

— О, пречестный Спасе, заступниче бедных и убогих. Разожги огонь ярости в сердцах наших, да падут попы-никонианцы-табашники и все власти сатанинские от меча карающего. Да соберем мы веру свою правую, и сохраним, и нерушимо укрепим. Как ты, Спасе и Господи, гнал вервием торгующих из храма, так и меч наш карающий с дымом, с кровью пронесется над землей. Верное воинство твое — дружину нашу — спаси и сохрани во веки веков...

— Аминь... Во веки веком... Спаси сохрани... — засекло набухший вздохами воздух.

Зыков земно поклонился Спасу, встал боком за подсвечник и, подняв руку, бросил в гущу склонившихся голов:

— И опять, вдругерядь, требую клятвы от вас. Зачинаем большое дело, дружина наша множится, как песок, и работы впереди — конца-краю не видать. Клянись всечестному образу: слушаться меня во всем — все грехи ваши я на себя беру — я ответчик! Клянись — не пьянствовать... Клянись — бедных, особливо женщин, не обижать. Клянись...

И враз загудела тьма, как девятый вал:

— Клянемся...

И никло пламя у свечей:

— Клянемся.

— Клянись стоять друг за друга, стоять за правду, как один, даже до смерти. Клянись... Все клянись!..

— Клянемся... Все!..

— Теперича подходи смиренно с лобызанием.

А когда моленная опустела, Зыков притушил до единой все свечи и зашагал чрез тьму, суеверно озираясь. Кто-то хватал его за полы полушубка, кто-то дышал в затылок холодом, по спине бегали мурашки.

В лице быстро сменилась кровь, и сердце окунулось в тревожное раздумье:

«Так ли? Верен ли путь мой? Не сын ли погибели расставляет сети для меня?» — шептал он малодушно.

И, опрокидывая все в своей душе, Зыков кричал, кричал без слов, но громко, повелительно:

— Нет! Христос зовет меня... Народ зовет...

Костры во дворе померкли. У глубоких нор, у землянок и зимников, где коротали морозное время партизаны, в лесном раскидистом кольце за заимкой, пересвистывались дозорные, сипло

взлаивали сторожевые псы.

Зыков вскочил на коня — ему надо крепко обо всем подумать, побыть наедине с собой, среди сонного леса, среди омертвевших гор, — ударил коня нагайкой и поехал в бездорожную глухую мглу.

А в бездорожной безглазой мгле, выбравшись на знакомый большак, ехали обратные путники — усач и парнишка. Ехали в радости: сам Зыков идет им на подмогу.

Старец Варфоломей пробудился от сна и творил предутреннюю молитву, истово крестясь.

Анна Иннокентьевна, укрывшись заячьим пятиаршинным одеялом, одиноко глотала слезы.

После третьих петухов заскрипела дверь, и Зыков встал против старика-отца.

— Батюшка-родитель, благослови в поход, утречком.

Старец Варфоломей в белых портах и в белой, по колено рубахе, весь белый, угловатый, сухой, сел на кровать и, обхватив грудь, засунул ладони под мышцы.

— Руки твои в крови. Пошто докучаешь мне, пошто не дашь умереть спокойно? — слабым, но страстным шопотом проговорил старик.

— Кровь лью в защиту бедных и обиженных... Так повелел Христос, — убежденно возразил сын.

— Замолчи, еретник! Засохни. — Старец злоеце загрозил перстом. — Рече Господь: под'явый меч от меча погибнет. Чуешь?

— Неизвестно, что бы теперича сказал Христос, — стараясь подавить закипающее сердце, проговорил Зыков.

Он стоял, переминаясь с ноги на ногу и, чуть отвернувшись, косил глаза на дышавшую смолой колоду-гроб:

— Рассуди, родитель, не гневайся. Ежели все будем сидеть смирно, аки агнцы, придет волк, перебьет всех до единого, заберет себе все труды наши, вырежет скот, разорит пасеки. Сладко ли? Что ж, дожидать велишь? Что ж, прикажешь смотреть, как жгут и погубляют целые деревни? — Зыков прижал к груди руки и умоляюще глядел в лицо отца. — Родитель, подумай. Ты стар, очеса твои зрят дальше. Родитель, благослови! Не впервой прошу, колькраты прошу: благослови. Мне тоже тяжело, родитель. Зело тяжело на душе...

Старец нахмурил хохлатые брови, большие мутные немигающие глаза его были холодны и бесстрастны, рот открыт.

И показалось сыну: сизый дым ползет от глаз, от бровей, от седых косм старца. Сердце сына задрожало, зарябило в глазах, дрогнул голос:

— Родитель-батюшка! — всплеснув руками, он порывисто шагнул к отцу: — Родитель!

— Уйди, сатано, не смущай, — и старик угловато махнул высохшей рукой. — Колькраты говорил: уйди! Кровь на тебе, кровь.

Зыков поклонился отцу в ноги, сухо сказал:

— Прощай, — и, как в дыму, вышел.



## Глава 2

Месяц стоит в самой выси морозной ночи. Голубоватые сугробы спят. Горы сдвинулись к реке, и у их подола — городишка. Три-четыре церкви, игрушечная крепость на яру: башня, вал, запертые ворота. Улочки и переулки, кой-где кирпичные дома, оголенные октябрьским ветром палисады. Это на яру.

Спуск вниз, обрыв и внизу, будто большое село — вольготно расселись на ровном, как скатерть, месте — дома, домишки и лачуги бедноты.

Городок тоже в снежном сне. Даже караульный в вывороченных вверх шерстью двух тулупах подремывает по привычке у купеческих ворот, да на мертвой площади, возле остекленного лунным светом храма, задрав вверх морду, воеет не то бесприютная собака, не то волк.

Город спит тревожно. Кровавые сны толпятся в палатках и хибарках: виселицы, недавние выстрелы, взрывы бомб, набат звенят и стонут в наполовину уснувших ушах. Вот вскочил старик-купец и, обливаясь холодным потом, нырнул рукой под подушку, где ключи:

— Фу-у-ты... Слава те, Христу.

Вот священник визжит, как под ножом, вот сапожных дел мастер бормочет, сплевывая через губу:

— Где, где? Бей их, дьяволов!

А собака воеет, побрякивает колотушкой караульный и дозорит в выси морозной ночи облыселяя холодная луна.

Впрочем, еще не спят неугасимые у крепостных ворот зоркие костры, и возле костров борется со сном кучка отважных горожан из лачуг и хибарок. Иные спят. Блестят винтовки, топоры, в сторонке раскорячился пулемет и задирчиво смотрит на ворота.

А за воротами тишина: умерли, спят — иль ожидают смерти? Человек не видит, но месяцу видно все: Эй, люди у костров, не спи!

Ванька Барда, чтобы не уснуть, говорит:

— Скоро смена должна прибыть. Чего они канителются-то? Нешто спосылать кого...

Никто не ответил.

Ванька Барда опять:

— Ежели денька через три зыковские партизаны не придут, каюк нам... — и безусое лицо его в шапке из собачины подергивается трусливой улыбкой.

— Как это не придут! — скрипит бородач, косясь на земляной вал крепости.

— Могут дома не захватить Зыкова-то: он везде рыщет...

— Тогда не придут.

— В случае неустойка — я в лес ударюсь, в промысловый зимник... Там у меня припасу сготовлено: что сухарей, что мяса, — уныло тянет Барда.

— А ежели к Колчаку в лапы угодишь?

— А почем он узнает, что я большевик? Ваш, скажу... Белый. На брюхе не написано.

— Ты, я вижу, дурак, а умный... — по-хитрому улыбнулся бородач и вдруг, быстро привстал на колени, вытянул лицо, — Чу!.. Шумят. За валом.

— Эй, кобылка! — звонко крикнул своим Ванька Барда.

Два десятка голов оторвались от земли.

— Вставай!

Но все было тихо.

И вслед за тишиной грянул с вала залп. Ванька Барда кувырнулся головой в костер.

Караульный там, у купеческих ворот, свирепо ударил в колотушку, вытаращил сразу потерявшие сон глаза. Из хибарки выскочил человек и выстрелил в небо. Заскрипели городские калитки, загрохотали выстрелы. Пронесся всадник. Собака бросилась к реке.

— Ну, опять, — мрачно сказал чиновник акцизного управления Федор Петрович Артамонов.

Он притушил лампу и уперся лбом в оконное стекло, курносый нос его еще больше закурносился и впалые глаза скосились.

Дом, где он квартирует, двухэтажный, церковный. Вверху живет священник.

— Тьфу, — желчно плюнул он и заходил по комнате.

Лунный свет зыбкий, странный. Голубеет и вздрагивает открытая кровать, Артамонову чудится, что на кровати лежит мертвец с голым, как у него, черепом.

— Чорт с тобой, — говорит Артамонов, ни к кому не обращаясь, достает из шкапа бутылку казенной водки и наливает стакан. В зеркале туманится его отражение. — За здоровье верховного правителя, адмирала Колчака, чорт его не видал, — раскланивается он зеркалу, пьет и крикает. Ищет, чем бы закусить. Сосет голову селедки. — Дрянь дело, дрянь. Россия погибла. Пра-а-витель... Офицеришки — сволочь, шушера, пьяницы... — думает вслух Федор Петрович, порывисто и угловато, как дергунчик, размахивает руками, утюжит черную большую бороду, и глаза его горят. — Ха, дисциплина... Да, сволочи вы такие! Разве такая раньше дисциплина-то была... И что это за власть! Городишка брошен на обум святых, ни войска, ни порядка. Пять раз из рук в руки. То какая-нибудь банда налетит, то эта дрянь, большевичишки, откуда-то вылезут из дыры. А кровь льется, тюрьмы трещат... Вот и поработай тут.

Выстрелы за окном все чаще, чаще. Черным по голубому снегу снуют людишки. По потолку над головой раздались шаги: проснулся поп.

— Вот тут и собирай подать. А требуют. Петлей грозят.

Постучались в дверь.

— Войдите!

Бородатый священник в пимах<sup>[1]</sup>, хозяин. Глаза сонные, свинячьи.

— Стреляют, Федор Петрович. Пойдемте, Бога для, к нам... Боязно.

— Большевиков бьют, — не то радостно, не то ожесточенно сказал чиновник. — Пять суток только и потанцовали большевики-то... Да и какие это большевики, так, сволота, хулиганы...

— Говорят, за Зыковым гонцы пошли, — сказал священник.

— Что ж Зыков? Зыков за них не будет управлять. Зыков — волк, рвач.

— Говорят, красные регулярные войска идут. Дело-то Колчака — швах. Боже мой, Боже, — голос священника вилял и вздрагивал. — А Зыкова я боюсь, гонитель церкви.

— Да, Зыков — ого-го, — за кержацкого бога в тюрьме сидел, — чиновник ощупью набил трубку и задымил.

— Эх, жизнь наша... Ну, Федор Петрович, пойдемте, Бога для, прошу вас. И матушка боится.

На-ходу, когда подымались по темной внутренней лестнице, Артамонов басил:

— Вам и надо Зыкова бояться, отец Петр. Не вы ли, священство, организовали погромные дружины святого креста? А для каких целей? Чтоб своих же православных мужиков бить...

— Только большевицкого толку! — вскричал священник. — Только большевицкого толку, противных власти верховного правителя...

— Да вашего верховного правителя мужики ненавидят, аки змия, — нескладно загромыхал Артамонов.

— Ежели красную сволочь не истреблять — в смуте кровью изойдем.

— Да ваше ли это пастырское дело?! Ведь по вашему навету пятеро повешено... Отец

Петр! Батюшка!

Священник отворил дверь в освященные свои покои и сказал сердито:

— Ээ, Федор Петрович, всяк по-своему Россию любит.

Утром красный пятидневный флаг, новенький и крепкий, был сорван с местного управления и водружен старый потрепанный: белый-красный-синий.

В это же утро три сотни партизан двинулись в поход.

Под Зыковым черный гривастый конь, как чорт, и думы у Зыкова черные.

Зыковские партизаны в этом месте впервые. Но население знает их давно и встречает везде с почетом.

Уж закатилось солнце, когда голова утомленного отряда пришла в село.

На площади возле деревянной церкви, зажгли костры. Мужики добровольно кололи овец, кур, гусей, боровков и с поклоном тащили гостям в котлы.

— Обида вам есть от кого? — допрашивал Зыков обступивших его крестьян. — Поп не обижает?

— Ох, батюшка ты наш, Степан Варфоломеич... Поп у нас, отец Сергей, ничего... Ну от правительства от сибирского житья не стало. Набор за набором, всех парней с мужиками, пятнай их, под метелку вымели. А придет отряд — всего давай. А нет — в нагайки... Ежели чуть слово поперек — висельница... Во-о-о, брат, как. Опять же черти-собаки...

— Знаю.

— Вот на этой самой колокольне два пулемета было осенью, для устрашенья. Вот они какие, черти-собаки-то... А что девок перепортили, пятнай их, баб... Ну, ну...

— Чехо-словаки туда-суда, утихомирились, а вот мандяришки... Ох, и лютой народ... Да казачишки с Иртыша...

— Все одним миром мазаны.

Зыков сидел у костра на потнике, облокотившись на седло в серебряном окладе. Он поднял голову и прищурился на крест колокольни.

— Поп не обижает? — опять переспросил он, и глаза его вызывающе округлились.

— Нет. Обиды не видать... А тебе на артель-то, поди, сена надо лошадям, да овса? Да-а-дим...

— Срамных! — крикнул Зыков. — Иди-ка на пару слов.

От соседнего костра, бросив ложку, вскочил рыжебородый и мигом к Зыкову.

— Вон в том доме торговый человек, Вагин, — сказал Зыков. — Возьми людей, заberi овса, сена: надо коней накормить.

— Правильно, резонт, — весело переглянулись мужики.

— Эй! кто потрапезовал? — Зыков поднялся. — Ну-ка с топорами на колокольню... Руби в верхнем ярусе столбы.

— Ну?! пошто это? — опешили крестьяне. — Мешает она тебе?!

— Надо.

Затрещала обшивка, доски с треском полетели вниз. Ребятишки таскали их в костры. Акулька распорол гвоздем руку и испугано зализывает кровь.

— Пилой надо, пилой! — раздавались голоса. — Силантий, беги-ка за пилой.

Из избы выскочил низенький, похожий на колдуна, старик и — к Зыкову:

— Пошто храм божий рушишь? Ах, злодей!... Вы кто такие, сволочи?!

Он топал ногами и тряс бородищей, как козел.

— Удди, дедка Назар! В голову прилетит, — оттаскивали его мужики.

Топоры, как коршун в жертву, азартно всаживали крепкий клюв в кондовые столбы.

— А колокола-то... Надо бы снять. Разобьются.

— Мягко, снег.

— Однако, разобьются.

Зыков поймал краем уха разговор.

— Звоны ваши не славу благовествуют богу, а хулу, — сказал он громко. — Попы на вовся

загадили вашу дорожку в царство божье. На том свете погибель вас ждет. — Он вдруг почувствовал какую-то неприязнь к самому себе, крикнул вверх. — Эй, топоры, стой! — и быстро влез на колокольню. — Сколько? — хлопнул он ладонью в главный колокол.

— Тридцать пудов никак.

— Добро, — сказал Зыков и подлез под колокол. — Вышибай клинья!

Края колокола лежали на его плечах.

Зацокало железо о железо, молот, прикряхивая, метко бил.

— Зыков! Смотри, раздавит... Пуп сорвешь.

— Вали, вали...

Колокол осел, края врезались, как в глину, в плечи. Ноги Зыкова дрогнули и напряжились, стали, как чугун.

— Подводи к краю! Не вижу... — прохрипел он, едва отдирая ноги от погнувшегося пола, и двинулся вперед.

— Берегись! — и колокол, приподнявшись на его ручищах, оторопело блямкнул языком и кувырнулся вниз, в сугроб.

Зыков шумно, с присвистом, дышал. Шумно, с присвистом, вдруг задыхал народ.

— Вот это, ядрит твою, так сила...

Из носа Зыкова струилась кровь, на висках и шее вспухли жилы. Он поддел в пригоршни снегу и тер ими налившееся кровью лицо.

Топоры вновь заработали, щепки с урчанием, как лягушки, скакали в воздухе. Кучка мужиков, пыхтя, выпрастывала из сугроба колокол.

Зыков опять стоял внизу, среди толпы.

— Канат, — скомандовал он. — Зачаливай!

От поповской калитки кричал священник, его сдерживали, успокаивали мужики, а старухи орали вместе с ним, скверно ругались, взмахивали клюшками.

— А как насчет попа, братцы? Говори откровенно... — опять сквозь стиснутые зубы спросил Зыков, и белки его глаз, как жало змеи, вильнули в сторону попа.

Мужики молчали.

— Эй, кто там еще? Слезай с колокольни!.. Подводи лошадей.

И по десятку коней впряглись в оба конца каната. Мужики, а сзади ребяташки, крепко вцепились в канат, нагнулись вперед, напрягли мускулы, застыли. И словно две огромных сороконожки влипли присосками в растоптанный белый снег.

— Готово?

— Вали!

Народ ухнул, закричал, некоторые наскоро перекрестились, нагайки ожгли всхрапнувших коней, верх колокольни затрепал, заскорготал костями, покачнулся и, чертя крестом по звездному небу, рухнул вниз. Взвились снег и пыль, лошади и люди посунулись носами. Хохот, крик, веселая визготня парнишек.

А дедка Назар, подкравшись сзади, грохнул-таки Зыкова костылем по голове:

— Нна, антихрист!.. Нна...

— Дурак! — круто обернулся к нему Зыков, поправляя папаху. — Забыл, как пулеметы-то на колокольне стояли? Забыл?

От двух его серых суровых глаз дед вдруг шарахнулся, как от чорта баба:

— Гаф! Гаф! Гаф! — отрывисто, сумасшедше взлаял он. — У, собака. Кержацка морда. Гаф!.. — и под дружный хохот, боком-боком прочь, в прогон.

Костры ярко горели, с кострами веселей. Воздух над ними колыхался, и видно было, как колыхались избы, небо, мужики.

В поповском доме погас огонь. От поповских ворот сипло лаял в небо старый поповский пес. Девушки и бабы ходили вдоль освещенного кострами села, перемигивались, пересмеивались с партизанами, угощали их кедровыми орехами:

— На-ка, бардадымчик, погрызи.

Парнишки осматривали ружья, вилы, барабаны. Возле пулеметов целая толпа.

— Эй! — закричал Зыков. — А где здесь староста?

И по селу многоголосо заскакало:

— Эй, Петрован!.. Где Петрован?.. Копайся скорей... Зыков кличет.

Петрован, лет сорока мужик, суча локтями и сморкаясь, помчался от пулемета к Зыкову. За ним народ.

— Что прикажешь? Я — староста Петрован Рябцов. — Он снял шапку и, запрокинув голову, смотрел Зыкову в глаза.

— Я по всем селам делаю равнение народу, — на весь народ заговорил тот. — И у вас тоже. Шибко богатых мне не надо, и шибко бедных не должно быть. Сердись не сердись на меня, мне плевать. Но чтоб была правда святая на земле. Вот, что мне желательно. И у меня нишкни. Ну! Эй, староста! которые бедные — по леву руку станови, которые богатые — по праву руку. Срамных, наблюдай. А я сейчас. Коня!

Он вскочил в седло — конь покачулся — и поехал за околицу, на дорогу, проверять сторожевые посты.

— Эй, часовые! Не дремать! — покрикивал он, грозя нагайкой.

А в толпе мужиков крик, ругань, плевки. Парфена тащили из бедноты к богатым. Аристархова не пускали от богатых в бедноту. Дранный оборвыш гнусил из левой кучки:

— Обратите внимание, господа партизаны: семья моя девять душ, а избенка — собака ляжет, хвост негде протянуть, вот какая аккуратная изба. Мне желательно обменяться с Таракановым, потому у него дом пятистенок, а семья — трое... А моя изба, ежели, скажем, собака...

— Сам ты собака. Ха! В твою избу. Вшей кормить.

Бабы подошли. У баб рты, как пулеметы, руки, как клещи, и, сердце — перец.

Кричал народ:

— У тя сколь лошадей? А коров? Двадцать три коровы было.

— Было да сплыло. В казну отобрали. Дюжину оставили.

— Ага, дюжину!.. А мне кота, что ли, доить прикажешь?

— Братцы, надо попа расплантовать... Больно жирен.

— Сколь у него лошадей? Четыре? Отобрать... Две Василью, две оборвышу. Только пропьет, сволочь...

— Кто, я? Что ты, язви ты...

— А попу-то что останется?

— Попу — собака.

— Это не дело, мужики, — выкрикивали бабы.

— Плевала я на Зыкова... Кто такой Зыков? Тьфу!

— А вот под'едет, он те скажет — кто.

Под'ехал Зыков:

— Ну, как? Слушай, ребята. Обиды большой друг дружке не наносите...

— Степан Варфоломеич! Набольший! — и дранный, низенький оборвыш закланялся в пояс черному коню. — Упомести ты меня к богатею Тараканову, а его, значит, ко мне: избенка у меня — собака ежели ляжет, хвоста негде протянуть.

Зыков сердито прищурился на него, сказал:

— Тащи сюда свою собаку, я ей хвост отрублю. Длиннен дюже.

В толпе засмеялись:

— Ах, ядрена вошь... Правильно, Зыков!.. Он лодырь.

— Ну, мне валандаться некогда с вами, чтобы из дома в дом перегонять, — потрогивая поводья, сказал Зыков. — Уравняйте покуда скот... Надо списки составить, посоветуйтесь, идите в сборню... Что касемо жительство, вот укреплюсь я, как следовало быть, тихое положенье настанет, все села новые по Сибири построим. Лесу много, знай, топоры точи. Всем миром строить начнем, сообща. Упреждаю: поеду назад, проверка будет. Чтоб мошенства — ни-ни... Эй, Ермаков!

К ночи все затихло. Месяц был бледный, над тайгой и над горами вставал туман.

Партизаны разбрелись по избам, многие остались у костров. Лошадей прикрыли потниками, ресницы, хвосты и гривы их на морозе поседели.

Зыков с шестью товарищами ушел на ночевую к крепкому мужику Филату.

— Чем же тебя побаловать? — спросил Филат. — Чай потребляешь?

— Грешен, пью. Плохой я, брат, кержак стал.

— Эй, баба! Становь самовар, да дай-ка щербы гостям. Такие ли добрые моксуны попались, об'яденье.

Щербу ели с аппетитом. Выпили по стакану водки. Как ни просил хозяин повторить — нельзя.

— Мой сын, — сказал Филат, — в дизентирах. Ну, он желает записаться к тебе. Гараська, выходи! Чего скоронился?

Вышел высокий, толстогубый, с покатыми плечами, парень и заскреб в затылке:

— Жалаим... Постараться для тебя, — сказал он, стыдливо покашливая в горсть.

— Пошто для меня? Для ради народа, — поправил Зыков. — Ну, что ж. Рад. Конь есть?

— Двух даем, — сказал отец. — И винтовка у него хорошая. Мериканка. И вся амуниция. С фронта упорол.

И пока пили чай, еще записалось четверо, с винтовками и лошадьми.

— Мы не будем убивать, так нас убьют, — сказал поощрительно какой-то дядя от дверей.

Крестьян набилось в избу много. Были и женщины. Зыков крупно сидел за столом среди своих и хозяев, на голову выше всех. Черные, в скобку подрубленные волосы гладко причесаны. Поверх черной рубахи шла из-под густой черной бороды серебряная с часами цепь. Бабы не спускали с него глаз. Акулька, маленькая дочь Филата, выгибаясь и потягиваясь, стояла у печки. Раненая гвоздем рука ее была замотана тряпкой.

Акулька все посматривала на черного большого дяденьку и что-то шептала. Потом кривобоко засемила к своей укладке, вытащила заветную конфетку с кисточкой и, сунув ее в горсть Зыкову, нырнула, сверкая пятками, в толпу баб и девок. Все захохотали.

Зыков растерянно повертел конфетку, качнул головой и тоже улыбнулся:

— Спасибо, деваха... Расти, жениха найду, — сказал он, пряча подарок в карман.

Акулька, подобрав рубашонку, голозадо шмыгнула по приступкам на печку, к бабушке.

Когда укладывались спать, хозяин спросил:

— Много ли у тебя, Зыков, народу-то?

— К двум тысячам подходит.

— Поди, твои кержаки больше?

— Всякие. Чалдонов<sup>[2]</sup> много да беглых солдат. Каторжан да всякой шпаны — тоже прилично. А кержаков не вовся много.

— А с Плотбища есть кержаки у тя?

— С Плотбища? Кажись, нет. А где это? Чего-то не слышал.

— Весной откуда-то прибегли, разорили, вишь, их там. В глухом логу живут... Нонче пашню запахивали быдто. Верстов с пятнадцать отсель.

— Надо навестить, — сказал Зыков и стал одеваться.

— Куда ты? Что ты, ночь... Спи!

— Ничего. Я там переночую. Скажи-ка парню своему, чтоб двух коней мигом заседлал. Он знает дорогу-то?

Зыкову хотелось спать, глаза не слушались, но он враз пересилил себя. Горела лампадка у старых икон. Шестеро товарищей его спали в повалочку на полу. Он притворил за хозяином дверь и поднял за плечи рыжеголового.

— Слушай-ка, Срамных. Ну, прочухивайся скорей, чего шары-то выпучил! Это я. Вот что... — Зыков задумался. — Завтра до солнца айда в город. По пути смени коня и дальше. Чтоб к вечеру туда поспеть. Вынюхай, понимаешь, все. Кой-кого поприметь. Умненько.

Потом поднял корявого и низенького, в черной бороде с проседью, тот сразу вскочил и коренасто, как кряж, стоял на шубе, раскорячив ноги. Волосы шапкой висли на глаза.

— Слушай, Жук. Завтра отряд ты поведешь. Понял? Ты. А я нагоню. — Жук почтительно встряхивал головой.

— Кони готовы! — веселым голосом крикнул Гараська, входя к ним — Винтовку надо?

— Захвати.

Было одиннадцать часов. Месяц высоко вздыбился. Скрипучие ворота выпустили двух всадников.

Они проехали вдоль села. У костров, в тулупах и пимах, взад-вперед, чтоб не уснуть, ходили с винтовками часовые. У дальних за селом ворот, в поскотине, возле покрытых лесом скал, тоже горел костер. Четверо спали около жаркого пламени, пятый часовой с винтовкой, скорчившись, сидел на брошенном у костра седле и храпел. Зыков, проезжая, сгреб его за шиворот, приподнял, бросил в сугроб и, не оглядываясь, поехал дальше. Гараська захохотал:

— Вскочил... Хы-хы-хы... Опять кувырнулся... Целит!..

Жихнула пуля мимо самой зыковской головы и горласто, среди гор, грохнул выстрел. Зыков карьером подскакал к костру. Все у костра вскочили:

— В кого стрелял? — гневно крикнул он.

Часовой, раскосый парень, отряхивая снег, сердито скосил на Зыкова глаза:

— В чорта!.. В того самого, что в сугроб людей швыряет.

Зыков вынул пистолет и выстрелом в лоб уложил часового на месте.

От села, в тумане взвихренного снега, с гиканьем мчались марш-маршем всадники.

— Сменить часового! — крепко сказал Зыков и поехал вперед.

Гараська весь трясся, зубы его стучали.

Еще ковш Сохатого не повис отвесно над землей, как всадники, миновав звериные горные тропы и лога, под'ехали к кержацкой заимке. Заимка, притаившись, плотно сидела в ущельи, как в пазухе блоха.

— Тпру, — остановил Гараська. — Здесь.

Из конур, из-под амбара, с лаем выскочили собаки. Трусливый Гараська поймал жердину. Зыков, подойдя к двери, постучал. Гараська, взмахивая жердиной, робко пятился от раз'яренной собачьей своры.

За дверью раздался голос, в избе вспыхнул огонек.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас, — сказал Зыков.

— Аминь.

Дверь отворилась, перед ними стоял высокий сухой бородач.

— Милости просим... Кто такие, гостеньки?



Маленькая изба, построенная на спешку, битком набита спящими. Было жарко. От разбросанных на полу подушек отрывались встрепанные головы, мигали сонными глазами и валялись вновь.

## Глава 4

С утра Жук повел отряд дальше. Их путь был среди гор, в стороне от большака, напрямки, по ущельям, падам и узеньким долинам горных речушек. Древние засельники этого края, инородцы, частью были перебиты в гражданской склоке, частью бежали, куда глаза глядят, а иные притаились поблизости, в недоступных потайных местах.

И расстились по пути: горы, тайга, сугробы, вольный ветер и безлюдье. Редко, редко, в стороне — заимка, деревня или село.

В это же утро оповещенные по заимкам кержаки собирались в избу. Уж нечем было дышать, и Зыков предложил пойти на воздух.

Румяные, веселые лица баб и девок улыбочиво проводили кержаков. Бабы стряпали, топили печь, звонко перекликались.

Гараська остался в избе. Сидит, врет. Бабье смеется.

— Овса, что ли, припереть? Сена? Пойдем кто-нибудь, покажь.

Все тело Гараськи горело, играла кровь. Но старуха, дьявол, зла, как чорт. И глаза у нее по ложке.

В глухом сосняке, где заготавливали лес, народ расселся на поваленных деревьях. Для сугрева, для веселости, развели костер. Зыков — в длиннополом, черного сукна на лисьем меху кафтане. Позднее зимнее солнце всходило из-за цепи гор. Зарумянились сосны, бородатые и безбородые крепкие лица кержаков. Красный кушак на Зыкове стал ярким, как кровяной огонь.

— Пошто, отцы и братья, ни единого человека из вас не было у меня на заимке? — спросил Зыков. — Давайте, сотворим беседу.

— Скрытничаем мы. Вот и сидим, боимся.

— Бежали, ягодка, сюда, бежали, — молодым голосом сказал белый старик на пне. Нос у него тонкий, горбатый, на серебряном сухом лице два черных глаза. — наших мальцев Колчак воевать тянул, в солдаты. А с кем воевать-то, чью кровь-то лить, спрошу тебя? Свою же. Сие от дьявола суть.

Старик порывисто запахнул зипун и, оглянувшись на народ, подозрительно уставился в лицо гостя.

Зыков крякнул, поправил пушистую шапку. Раскачиваясь и чуть согнувшись, он ходил взад-вперед меж костром и народом.

— Мы бы пришли к тебе, да перечат старики, — выкрикнул с каким-то надрывом молодой парень и сплюнул в снег.

— Попридержи язык! — Белый дед гневно ударил костылем по сосне и погрозил в сторону примолкшей молодежи. — Словоблуды! Табашниками скоро заделаетесь.

— Парень дело говорит, — сказал Зыков и остановился. — Так ли, сяк ли, а вы явственно должны мне ответить, кто вы суть? Я только сего ради сюда и завернул. Истинно, не вру.

Он сложил на груди руки, и спрашивающие глаза его перебежали от лица к лицу.

— Помощи от вас я не требую: народ у меня есть, и еще идут. — А вот ответьте, без лисьих хвостов, по совести: со мной ли вы, друзьями, враги ли мои лютые, или же ни в тех, ни в сех? Я мыслю — не враги вы мне, — в его голосе была и ласка, и угроза.

Помолчали. Белый дед смущенно постукивал костылем по пню. Все смотрели на него, ждали, что скажет.

Дед поднял голову, положил подбородок на костыль и, надменно потряхивая головою, спросил:

— Ты вопрошаешь, сыне, кто мы тебе: во Христе ли или во дьяволе? А по первоначалу ты

сам ответь: какое оправданье дашь делам своим? Дела же твои, сыне, зело скудельны. — Глаза старика злые, черные и острые, как шилья.

Зыков вздохнул и качнулся всем телом:

— Ты, старец Семион, вижу, в одну дудку с отцом дудишь, с моим родителем. По небесному вы, может, и зрячи, а по земному — слепые кроты. Где ты бывал? что видел? тайгу, горы, пни гнилые. А я везде бывал. Руки мои в крови, говоришь? Верно. Зато сердце мое за народ кипит.

Кержаки закричали, зашевелились. Как черная молния, со свистом рассекая морозный воздух, промчался за добычей ястребок.

Зыков длиннополо взмахнул кафтаном и вскочил на пень:

— Эй, слушай все!

Молодежь прихлынула к самому пню и, раздувая ноздри, дышала в мороз огнем.

— Кто гонитель нашей веры древней? Царь, архиерей, попы, начальство разное, чиновники, купцы. Так или не так?

— Так, так... Истинно.

— Добре. А посему — изничтожай их, режь и капища ихние жги. Настало время. Вся земля в огне. Откройте глаза и уши. Кто крепок, иди за мной. Через огонь, через меч мы возродим веру нашу в Святом Духе, Господе истинном. Кто слаб, зарывайся, как червь, в землю. На врага же своего пойду грудь к груди. Ну, говори, Семион, чего трясешь бородой-то!

Дед ткнул в воздух костылем, ткнул в лицо Зыкова шильем своих глаз, крикнул:

— Семя антихристово! Антихрист!.. Дело ли сыну нашей древней матери церкви с топором гулять?!

— А ты забыл Соловецкое сиденье при Алексее при царе? — подбоченился Зыков и перегнулся с пня, длинная цепь на черной рубахе повисла дугой. — Нешто иноки старой веры не били царских слуг, не лили крови? Вспомни, старик, сколько и нашей крови в то время пролито. Вспомни страданья протопопа Аввакума.

— Семя антихристово! Много вас, предтечев, развелось. Но и сам антихрист уже близ есть. Мозгуй! Голова пустая! По числу еже о нем — 666 — узнаешь его, число же человеческое есть антихристово.

— Кому нужны твои старые слова? — запальчиво, но сдерживаясь, проговорил Зыков. — О каком числе речь? Много раз предрекалось число сие, даже с незапамятных времен древних. Какое твое число, старче?

— Лето грядущее: едина тысяча девятьсот двадцать.

Старик заметил яд улыбки в густых усах и бороде Зыкова и голосом звенящим, как соколиный крик, рванул ему в лицо:

— Демон ты или человек?! Пошто харю корчишь?.. Во исполнение лет числа зри книгу о вере правой.

— Не чтец я твоих заплесневелых книг!! — загремел, как камни с гор, голос Зыкова, и все кержаки, даже сосны поднялись на цыпочки, а старик разинул рот: — Оглянись, — какие времена из земли восстали?! Ослеп — надень очки. Книга моя — топор, число зверя — винтовка да аркан!

— Уходи, Зыков, уходи! — весь затрясся старик. — Не друг ты нам, всех верных сынов наших отвратил от пути истины... Горе тебе, соблазнителью... Знаю дела твои... Уходи! — неистово закричал старик, и его костыль угрожающе поднялся.

— Уходи, Зыков!! — вмиг выросли в руках бородатых кержаков дубинки. С треском, ломая поваленные сосны, толпа метнулась к Зыкову:

— Хриstopродавец!.. Прочь от нас!!

Но молодежь вдруг повернулась грудью к своим отцам.

С злорадной улыбкой Зыков соскочил с пня и пошел, не торопясь, к заимке, затягивая на ходу кушак.

И толкались, лезли в его уши, в мозг, в сердце: крики, гвалт, стоны, матерщина кержаков.

Ехали медленно. Гараська то был мрачен: вздыхал и оглядывался назад, то лицо его, круглое, как тыква, и румяное, вдруг все расцветало в сладкой улыбке. Гараська облизывался и пускал слюну.

— А ловко мы с Матрешкой околпачили бабку-то. На-ка, старая корга, видала? — Гараська мысленно наставил кукиш, захохотал и стегнул коня.

Зыков, прищутив глаза и опустив голову, всматривался в свою покачнувшуюся душу, читал будущее, хотел прочесть все, до конца, но в душе мрак и на дне черный сгусток злобы. И лишь ближайшее будущее, завтрашний день, было для него ясно и четко.

— Этот старец Семион — ого-го...

Зыков видит: злобный старик седлает коня, берет двух своих сынов и едет к его отцу, старцу Варфоломею.

— Две ехидны... Ежели камень преградил твой путь на тропе горной, — столкни его в пропасть...

И Гараська думает, улыбочиво облизывая толстые от поцелуев губы:

— Баба ли, девка ли — и не понял ни хрена... Ну до чего скусны эти самые кержачки.

Кони захрапели. Зыков вдруг вскинул голову. У подножия горы, с которой они спускались в долину речки, ждали три всадника.

Зыков остановил коня. Гараська снял с плеча винтовку. Ствол, как застывшая черная змея, сверкнул на солнце.

— Зыков! Это мы, свои... Зыков... — И навстречу им, из-под горы, отделился всадник.

— Мирные, без оружия, — сказал Зыков.

— Эх, жалко, — ответил Гараська. — Давно не стреливал.

Когда с'ехали все вместе, три молодых парня-кержака сказали:

— А мы надумали к тебе, хозяин... Возьмешь? Только у нас вооруженья нету. Убегли в чем есть... После неприятности.

— Вот, даже мне глаз могли подбить, — показывая на затекший глаз, ухмыльнулся длиннолицый парень с чуть пробившейся белой бородкой.

— Ладно, — сказал Зыков. — Спасибо, детки.

— Куда, на заимку к тебе, али в город?

— На заимку. Вернусь, — к присяге приведу. С Богом.

Дорогой, посматривая на широкие плечица Зыкова, Гараська спросил:

— А правда ли, Зыков, что тебя и пуля не берет?

— Правда. Ни штык, ни пуля, ни топор.

— Кто же тебя, ведун заговорил?

— Сам. Я ведь сам ведун.

Гараська захохотал:

— Ты скажешь... А пошто же хрест у тя? Сам ночесь видал, спали вместе.

Тот молчал.

— Быдто тебя летом окружили чехо-собаки, в избе быдто, а ты взял в ковш воды, сел в лодочку да и уплыл. Старухи сказывали.

— Врут. Это другие разбойники так дельвали: Стенька да Пугач.

— А ты, Зыков, нешто разбойник?

— Разбойник.

— О-ой. Врешь! Те — атаманы. А ты нешто атаман?

— Атаман.

— Нет, ты воин, — сказал Гараська. — Ты за народ. У тебя войско. Ты войной можешь итти... Ты как генерал какой... Тебя народ шибко уважает. Про тебя даже песня сложена.

— Спой.

Гараська засмеялся и сказал:

— Да я не умею... Чижолый голос очень, нескладный... Ежели заору, у коня и у того со смеху кишка вылезет.

Долина все сужалась. Желтые, скалистые берега были изрыты балками и, как зубастые челюсти, все ближе и ближе сходились, закрывая пасть. На обрывах лес стоял стеной. Солнце ярко било в снег. Следы зверей и зверушек чертили рыхлые сугробы. Небо бледное, спокойное, наполненное светом и тишиной. Мороз старается щипнуть лицо. Очень тихо. Скрипучий снег задирчиво отвечает некованным копытам. Две вороны, по горло утонув в снегу, повертывают головы на всадников. Сорока волнообразно пересекла долину и с вершины елки задрознилась. Взлягивая прожелтел бесхвостый заяц. Сел. Уши, как ножи, стригут.

— А ты, Зыков, уважаешь с бабами греться? — Гараська смешливо разинул рот, повернул голову и насторожил припухшее, укушенное морозом ухо.

— Когда уважаю, а когда и нет...

— А я завсегда уважаю... — облизнулся Гараська и в волнении задышал.

— У меня на этот счет строго. — И, обернувшись, погрозил парню. — Имей в виду.

— Гы-гы-гы... Имею...

Они повернули от Плотбища в горелый лес.

В это время соборный колокол в городке заблаговестил к молебну.

Небольшой собор битком набит народом. Людской пласт так недвижим и плотен, что с хор, где певчие, кажется бурой мостовой, вымощенной людскими головами.

Редкая цепь солдат, сзади — мостовая, впереди — начальство и почетные горожане.

Все головы вровень, лишь одна выше всех, торчком торчит, — рыжая, стриженная в скобку.

Служба торжественная, от зажженного паникадила чад, сияют ризы духовенства, сияют золотые погоны коменданта крепости поручика Сафьянова, и пуговицы на чиновничьих мундирах глазасто серебрятся.

Весь чиновный люд, лишь третьегоднейшей ночью освобожденный из тюрьмы, усердно молится, но радости на лицах нет: ряды их неполны: кой-кто убит, кой-кто бежал, и что будет завтра — неизвестно.

У двух купцов гильдейских Шитикова и Перепреева и прочих людей торговых в глазах жуткая оторопь: чуют нюхом — воздух пахнет кровью, и напыщенная проповедь седовласого протоиерея для них звучит, как последнее слово над покойником.

Лицо сухого, но крепкого протоиерея Наумова дышало небесной благодатью. Он начал так: — Возлюбим друг друга, како завещал Христос.

А кончил призывом нелицемерно стать под стяг верховного правителя и, не щадя живота своего, с крестом в сердце, с оружием в руках, обрушиться дружно на красные полчища, на это отребье человеческого рода, ведомое богоотступниками на путь сатаны.

— Ибо не мир принес я вам, а меч, сказал Христос! — воскликнул пастырь, голос его утонул в противоречии, лицо вспыхнуло румянцем лжи, и глаза заволоклись желчью.

Рыжеголовый тщетно пытал вытащить руку из сплюсненной гущи тела, потом кивком головы он освободил ухо от шапки волос и, разинув рот, весь насторожился.

По случаю избавления града сего от бунта изуверов и крамольников, престарелый дьякон, выпятив живот, возгласил многолетие верховному правителю, победоносному воинству, верным во Христе иноплеменным союзникам, начальствующим лицам и всем богопасовым гражданам. А погибшим и умученным — вечная память.

После службы, под колокольный трезвон, народ повалил в городское управление.

— Будут речи говорить... Митинг...

— Митинги запрещены.

— А сегодня особый день... Разрешено. Шагай проворней!

Рыжий, весь взмокший, жадно глотал ядреный морозный воздух. Он тоже шагал с другими, выпытывал:

— А это чей домик, фасонистый такой? А-а, Шитикова? Что, дюже богат? Обманывает? Сволочь. А чего смотрите-то на него?

Таня Перепреева шла из собора домой с младшей сестренкой своей Верочкой.

Верочке весело, Верочка по-детски смеется, указывая рукой на рыжего верзилу:

— Таня, Таня, гляди-ка.

Но Таня ничего не слышит и не видит возле. Ее большие серые глаза устремлены вперед и ввысь, ее нет здесь.

Рыжий облизнулся на девушку:

— Вот так товарищ... Чьих это?

Митинг прошел тревожно. Председательствовал внебрачный сын монаха, чиновник Горлицев. Говорило начальство, представители правых партий, служилый люд и духовенство, даже седовласый протоиерей Наумов.

Настроение было подавленное, всех охватил заячий какой-то трепет, речи были тревожны и смутны: город отрезан, солдат горсточка, солдаты ненадежны, продуктов и хлеба мало, на военную помощь правительства рассчитывать нельзя, красные же полчища с боем продвигаются вперед. Спокойствие, спокойствие!.. Кто-то слышал от самого коменданта, кто-то видел телеграмму, что сюда двинут отряд поляков, что этот отряд еще вчера должен был притти сюда... Долой! Враки! Довольно слухов! Тут предлагают слухи, а между тем — ха-ха! Всюду мужичьи бунты, грабежи, пожары, по стране рыщет партизанская рвань. Разбойник Зыков мутит народ, грабит храмы, режет власть имущих и богачей. Горе стране, где нет хозяина. На кого же уповать, где найти защиту? Единая надежда — Бог. Но для сего надо подготовить себя постом, покаянием, добрыми делами и, главное, возлюбить ближнего, как самого себя. А вся ли крамола арестована? Справку! Пожалуйста, справку о последнем крамольном мятеже. Убито и ранено граждан и солдат 14 человек, двое пропали без вести. Со стороны же большевистской сволочи убито и изувечено 79 человек. А сколько красной сволочи ранено? Раненых нет. Bravo! Bravo!

С задних рядов поднялся костлявый, в черных очках, в измызганной шубенке человек и чахоточным голосом крикнул:

— А кто возвестил: любите врагов ваших? Кто?!

— А вот кто! — и кулак мясника ударил чахоточного по лицу. Очки погнулись, правое стеклышко упало на пол.

— Это портняга! Пьяница!..

— Он всегда за красных.

— Бей его!

— Сицыли-и-ист...

Но страсти постепенно утихали. Возле стенки, вытирая шубой штукатурку, продирался чахоточный, лицо его желто, костляво, безволосо, как у скопца, свободный глаз горел огнем, и жалко темнело сиротливое стеклышко.

— Иди, покуда цел, — тянул его за рукав милицейский, и сзади какой-то дядя в фартуке толкал его в загривок.

— Благодарим, граждане! Спасибо!.. — крикнул из дверей чахоточный и сплюнул кровью. — Убийцы вы!

— Вон, вон, вон!

Звонок.

— К порядку!

Вз'ершившийся народ опускал перья, остывал, но ноздри все еще раздувались, и судорожно ходили пальцы на руках.

— Граждане, православные христиане!..

И в низком, сумеречном зале зашипело:

— Шитиков... Шитиков... Сам Шитиков.

Купец сбросил енотку, и на тугом животе его засияла золотая с брелками цепь. Загривок и подбородок его хомутом лежали на покатых плечах. Лысая, овальная, как яйцо, голова открыла безусый, безбородый рот и облизнулась.

— Граждане, — заквакал он, как весенняя лягушка, и большие лягушачьи глаза его застыли на вспотевшем лбу. — Кто приведет мне христопродавца Зыкова — тому жертвую три тыщи серебром...

— Я приведу!.. Самолично, — раздался лесовой хриплый голос. Шитиков и сидевшие за столом быстро оглянулись. Из полутемного угла шагнул рыжий верзила в полушубке, он выбросил широкую ладонь и прохрипел: — Давай, купец, деньги!.. Живьем приведу.

Шитиков пугливо откачнулся:

— Ты кто таков?

Рыжий исподлобья медленно взглянул на него:

— Я — неизвестно кто. А берусь... Давай деньги!.. Я каторжанин... И ты каторжанин. Давай деньги!.. Ей-Богу, приведу!.. Самого Зыкова. Живьем... Давай деньги!

— А где Зыков? А где Зыков? Эй, рыжий!.. Говорят, сюда идет?! — закричали в народе.

— Зыков убит в горах.

— Нет, не убит... Идет... Сюда идет.

— Враки! — густо, по-медвежьи рявкнул рыжий. — Зыков теперича к Монголии ударился, войско собирать. А за три тыщи приведу... Берусь!

Вдруг послышалось на улице «ура» и резкий свист. Рыжий злорадно и загадочно вскрикнул:

— Ага, голубчики! — и тяжелым шагом двинулся к дверям.

Народ в испуге поднялся с мест. Одни бросились к выходу, другие к окнам, но стекла густо расписал мороз, и сквозь мороз непрощенно лезли в дом свист и крики.

— В чем дело? Сядьте, успокойтесь!.. — отчаянным, дрожавшим голосом взывал председатель. — В чем дело?.. Стой!.. Куда! — и сам был готов сорваться и бежать.

— Назад! Назад! — вкатывалась в дверь обратная волна. — Назад!.. Это два офицера, чехословаки, что ли... Поляки, поляки!.. И отряд... Десять человек... Двадцать... Сотня... Целый полк!

И с треском в зале, через гром аплодисментов:

— Ура! Ура!..

Два поляка-офицера при саблях: тучный, лысый, с бачками, и черноусый, молодой, в синих венгерках, в длинных, чесаного енота, сапогах, тоже кричали ура, тоже хлопали в ладони.

Но не все присутствующие выражали патриотический восторг, многие угрюмо молчали. Как камень молчал и рыжий. Скрестив на груди руки, он стоял, привалившись к косяку, и ждал, что будет дальше. А дальше было...

Акцизный чиновник Артамонов в церковь и на митинг не ходил. Чорт с ним, с митингом, он беспартийный, чорт побери всех красных, белых и зеленых, он просто труженик, ему надо обязательно к 15-му числу двухнедельную, по службе, ведомость составить. Царь был, царю служил, Колчак пришел — Колчаку, большевики власть возьмут — верой и правдой будет большевикам служить, чорт их задави.

Отец Петр тоже не ходил в собор. Счастливый отец Петр.

Отца Петра крестьянин из соседней деревни на требу к себе увез, старуху хоронить. Отказывался, не хотелось ехать. Но крестьянин в ноги упал, крестьянин два золотых отцу Петру в священнослужительскую ручку сунул. Батюшка согласился и уехал. Счастливый отец Петр, уехал!

А чиновник Федор Петрович Артамонов замест того, чтоб на счетах щелкать, упражняется с Мариной Львовной в чаепитии.

Состояние духа их тревожно. Что-то будет, что-то будет? В этикие, прости Господи, времена живем. Но в тревогу постепенно, исподволь, вплетается какое-то томление, лень и нега. Давненько это началось, а вот сегодня крепко на особицу.

Не это ли самое томленье их почуял сердцем отец Петр и упорно отказывался на требу ехать? А все-таки поехал. Судьба. Счастливый отец Петр, счастливые Марина Львовна и акцизный чиновник Артамонов!

Кисея, старинные часы в футляре, герань, два щегла, ученый скворец, портреты архиереев. Самовар пышет паром, и пышет здоровьем пышная Марина Львовна, попадья. Дымчатый китайский кот зажмурился, у горячей печки дремлет.



— Ужасно все-таки народ стал вольный, — сказала матушка и положила Федору Петровичу в чай со сливок пенку. — О девицах и говорить нечего, но даже женщины.

— Наши дни подобны военной будке: белый, красный, черный, — ответил слегка подвыпивший Федор Петрович. — А женский пол поступает хорошо.

— Чего же тут хорошего? — спросила матушка, улыбаясь.

— А что же тут предвидится плохого? — озадачил хозяйку гость и легонько погладил рукой ее полную ногу. — Тут ничего плохого нет.

— Ах, как это нет! — вспыхнула матушка и задвигала стулом.

— Веяние времени, — смиренномудро заметил гость и еще ласковей тронул дрогнувшую ногу матушки. Матушка развела коленки и быстро их сомкнула, сказав:

— От этих веяний могут выйти неприятности. Уберите вашу руку!

— При чем же тут рука?

Глаза чиновника горели. Он оправил виц-мундир, оправил бороду и стал закручивать усы.

— Одна девка другой сказала, — проговорил он: — а ты любись, чего жалеешь... Чорту на колпак, что ли? — и захихикал.

Матушка тоже захихикала и погрозила ему мизинчиком. Федор Петрович в волнении прошелся по комнате, остановился сзади хозяйки и вдруг, схватив ее за полную грудь, насильно поцеловал в губы.

— Что вы делаете?.. Что вы делаете? Ой! — вскрикнула она и, перегнувшись через спинку стула, страстно обхватила Федора Петровича за шею.

В дверь раздался стук.

— Это Васютка.

Десятилетний попович Вася — большой любитель всяческих событий. От усталости он шумно дышал и, захлебываясь словами, торопился:

— Дай-ка чайку... Поляки пришли. Полсотни. Офицеры. Будут большевиков судить. Один то-о-олстый, с саблей, офицер-то. А кони маленькие, с кошку. Я ура кричал, а другие дураки свистали. К купцу пошли обедать. Повар проехал, вино провез. Дай-ка хлебца. Пойду. Нет, не задавят, мы с Сергунькой!..

И мальчик, хлопнув дверью, убежал.

Из окна видно серое небо, серый день и край городишка, а там, дальше, в каменных берегах, — река. По белой ее глади вьется, убегая за серую скалу, дорога. Струи реки быстры, на самой середке вода прососала большую польню. Черная вода ее обставлена редкими вешками.

Артамонов отошел от окна. Он чувствовал себя, как пропуделявший по дичи охотник. Чорт дернул того дьяволенка не во-время притти.

— Я бы желал выпить водки, — сказал он.

Марина Львовна, покачивая бедрами, подошла к шкафу. Одну за другой Артамонов выпил три рюмки, а матушка только две.

— Не Марина ты, а Малина! — прищлепнув ладонь в ладонь, игриво воскликнул Федор Петрович, и...

... Сумерки надвинулись вплотную. В истопленной печке золотом переливаются потухающие угли. Кот, выгибая спину, косится на кровать, идет к двери и мяукает. Бьет шесть часов.

И опять кто-то нетерпеливо задергал скобку двери.

— Васютка, — сказал Артамонов и стал зажигать лампу.

Суетливо оправляя прическу и подушки, матушка сквозь глубокий вздох сказала:

— Теперь я понимаю сама, как пагубно действует революция даже на женщин духовного звания. Ах, Федор Петрович, злодей ты...

— Да-а-а, — неопределенно протянул тот, — седьмой час уж. — Он дыхнул в закоптелое стекло лампы и, сложив фалду виц-мундира свиным ухом, стал действовать им наподобие ерша.

Как угорелый влетел Вася.

— Столбы врывают! Три виселицы! Вешать будут! У собора!

— Кого, кого?

— Изменщиков!

— Слава Богу, — перекрестилась матушка.

— Когда? — спросил гость.

— Завтра. Объявления расклеены... Пойдем читать. Красные скоро придут... Триста верст до красных... Офицеры сказывали на площади... Народу-у... страсть. Пойдем!

За окнами падал снег. И что делалось на реке, там, у полыньи, никак нельзя было разглядеть. Полынья чернела. Сумерки сгущались. В окнах хибарок зажелтели огоньки.

Рыжий похаживал среди народа, выпрашивал, выпытывал, проводил хохотом двух пьяных, проехавших домой купцов. Пробрался в крепость. Ворота были празднично открыты. Закроют ровно в девять. На земляном валу у ворот серели часовые.

Внутри крепости, впритык к валу стояли наскоро выстроенные еще летом досчатые конюшни. Лошади у кормушек хрупали овес.

Сквозь густо падавший снег рыжий вплотную подошел к поляку, чистившему своего коня.

— Эй, братяга, — тихо и озираючись, проговорил рыжий в самое лицо солдата. — Передай своим, чтоб ночью не зевали... Да ты лопочешь по-хрещеному-то?

— Ну. Знай маленько, — и солдат чуть попятился от сутулого верзилы.

— Возьми уши в зубы, коли так. Завтра, по-темну, партизаны придут. Слыхал? Тыщи две. В случае — лататы. На конях в лес всем отрядом дуй... Поперек реки... По дороге вдоль не надо, а то в лапы партизанам угодишь, до единого всех вырежут, секим башка. Так и толкуй своим по-русски... Чуешь? Поперек реки...

— Ты кто есть? Провокатор? — словно проснувшись, прокричал солдат. — Эй, мужик, мужик, стой!..

Но рыжий быстро скрылся в мутной мгле.

Солдат поднял тревогу. Искали на конях, бегали с фонарями. Рыжий — как сквозь землю.

Поляки решили не спать всю ночь. Два их офицера после купеческого угощения были навеселе. Они отдали приказ: завтра же разыскать бродягу и повесить, а потом заказали привести для услады свеженьких девченок.

Дом поповский на горе. Отца Петра все еще нету.

Артамонов подходит к окну.

— Что это такое?

Сквозь белый мрак мутнеют на реке огни. Их много. Огромная дуга огней примкнула концами к городскому берегу и в середине прервалась. Костры, должно быть. Наверное, рыбаки добывают рыбку. Должно быть, так.

На душе Федора Петровича противно, тошно и смертельная тоска.

Матушка укладывает Васю.

— А вы оставайтесь, в лото поиграем до отца Петра.

Артамонов молчит. Сердце невыносимо ноет. Хочется застонать протяжно и громко.

— Покойной ночи, — говорит он и, чиркая на ходу спички, спускается к себе вниз.

Возле купеческого крыльца по привычке дремлет караульный. Он видит страшный сон, мычит и охает.

На соборной колокольне сторож пробил девять.

Весь город спит. Федору Петровичу не спится.

## Глава 6

Вдруг, словно по команде, на сонных улицах, на реке, в лесу и всюду загрохотали выстрелы. На всех колокольнях враз ударили в набат. Через соборную площадь, через взор и слух проснувшегося караульного, с гиканьем и свистом промчались в снежной мгле гривастые и черные, как черти, тени.

— Господи Суси, Господи... — закрестился караульный, и его колотушка покатила в снег.

Федор Петрович Артамонов вскочил с кровати, на босую ногу надел пимы, накиннул барнаулку-шубу и, весь дрожа, вышел за ворота. Было тихо, только снег крутил, и он подумал, что все это ему пригрезилось.

Но нет. Вскоре где-то на яру, у крепости, вновь затрещали выстрелы, ударил набат, и колыхнулось из-за крыш зарево.

«Однако, красные пришли»... — мелькнуло в его испуганном уме.

Ржаво поскрипывали калитки. Слышались робкие, прерывавшиеся шаги и голоса. Перекликались соседи:

— Эй, Назаров! Ты?

— Я.

— Это что такое?

— Не знаю...

Из метели вынырнул и дальше пробежал мальчишка. На бегу звенел на всю метель:

— Полякам шубы перешивают!..

— Кто?

— Не знай кто!.. Не видно... Чу, палят...

— Эй, мальчик! — крикнул и Артамонов.

Но калитки резко захлопали. С выстрелами проскакали два всадника, за ними еще, и целый отряд, что-то лопоча, жутко выкрикивая и стреляя в муть. А сзади с гиканьем, со свистом, с матерщиной, завихоривали на храпевших конях люди:

— В проулки не пушай! Гони к реке! К реке-е!!

Чиновник Артамонов тоже нырнул в калитку.

Поляков гнали прямо на костры. Но у костров — народ. Поляки заметались.

Тот, которого предупреждал рыжий, кричал товарищам, чтоб мчали поперек реки «до лясу». И вот ошалело ринулись в тьму, в то место, где разорвалась дуга костров.

— Ребята, стой! — медной глоткой рявкнул Зыков партизанам и, рванув уздой, враз вздыбил своего коня.

Все осадили лошадей.

— Готово. Влопались...

С проклятьем, с воплем, наседая друг на друга, враги стремглав ухнули в ловушку-польню, сразу вылетев из седел.

Тут было не глубоко — коню по шею — но вода быстро неслась, многих утянуло под лед, иные хватались за конские хвосты, отчаянно хлопались в ледяной воде, но, выбившись из сил, тонули с страшным визгом.

Всхрапывали, гоготали лошади, забрасывая передние ноги на закрайки, но тонкий лед, звеня, сдавал.

— Вылазют! Вылазют! — вскричали партизаны, их зоркие глаза увидели двух вылезших людей. — Прикончить надо...

— Пускай на морозе греются. Сами сдохнут, — сказал Зыков. — А впрочем... добудьте-ка сюда одного.

Он повернул коня, и все шагом поехали к кострам.

Месяц прогрыз подтянувшиеся к небу тучи, и в мутном свете видно было, как трепаным дымом проплывали облака.

— К утру вывездит, — проговорил рыжий. — Ишь, казацкое солнце ладит рыло показать, — и махнул рукавицей на луну.

— Слушай, Срамных, — обратился к нему Зыков. — Город заперт?

— Так точно... Кругом дозоры. Офицерье схвачено. Крепостной начальник схвачен... Пушки я досмотрел старинную, у церкви валялась, в крепости, велел своим ребятам на вал втащить... Вдарить можно. Опять же встреча тебе будет: трезвон и леменация... Приказ мной даден.

Приволокли поляка. Бритая, без шапки голова, большие усы закорючкой вниз. Глаза на толстощеком лице прыгали, как у помешанного. Весь взмок, и едва держался на ногах.

— Пане... Змилуйся, пане!.. — дрожая и стуча зубами, упал он пред Зыковым в снег лицом.

«Сейчас пытаться начнет», — сладостно подумал Гараська, пьянея звериным чувством.

— Встань. Какой веры?

— Католик, пане... Католик.

— Римской, что ли? О, сволочь... Разорвать бы...

— Дозволь мне, Степан, — хрипло загнул сзади широкоплечий горбун с свирепой мордой и сверкнул огромным топором.

— Нет, мне, Зыков, мне... — и Гараська соскочил с коня.

— Ну, ладно. Живи, — милостиво сказал Зыков. — Эй, дайте-ка ему сухую лопотину... Раздеть... Вишь, у молодца руки зашлись.

Когда поляк был одет в теплый полушубок, Зыков сказал ему:

— Коня тебе не дам. Беги за нами бегом, грейся. Посмотришь, как Зыков царствует, и своим перескажешь. Ежели твоя планида допустит тебя домой вернуться, и там всем расскажи про Зыкова. Я так полагаю, что спас тебя не зря. Ты кто? Ты враг мой, а я тебя возлюбил. И я мекаю, что много грехов тяжких за это мне сбросится с костей. А теперича...

— Скачут, скачут! — закричали голоса.

Зыков обернулся к городу. В неокрепшем лунном свете мчались четверо.

— Передались!.. Без кроволитья! — кричали издали.

— Тпру... Товарищ Зыков, — сказал запыхавшийся солдат. Белый конь его мотал головой и фыркал. — Так что на митинге единогласно все тридцать пять человек постановили присоединиться к вам, товарищи... Долой Колчака, да здравствует Красная армия и красные партизаны с товарищем Зыковым во главе... Ура!.. — солдат замахал шапкой, конь его закрутился, все закричали ура.

— Добро, — сказал Зыков. — Вы решили, ребята, по-умному. И нам работы меньше, и ваши головы останутся на плечах торчать. Спасибо. Ну, готово, что ль? Дай-ка огня.

Десяток выхваченных из костра горящих головней мигом, как в сказке, осветили Зыкова. Он вынул из-за пазухи часы:

— Эвона, одиннадцать скоро. Горнист! Играй сбор!

Медный зов трубы звучно и резко прокатился над рекой. Лес и горы, тотчас отозвавшись, пробредили во сне. У многочисленных костров закопошились партизаны, и вот, как на крыльях, стали слетаться к месту сбора всадники.

Зыков махнул рукой. Горнист сыграл «повзводно, стройся». Две сотни живо встали головами к городу.

— Вот, братцы! — прокричал Зыков, указывая на стоявшего рядом поляка. — Это наш враг был, теперича друг и брательник. Я его крестил в реке, в Ердани. Имя ему теперича дадено Андрон, а фамиль Ерданский. — Бороды враз взмотнулись, и над головами лошадей прокатился шершавый смех.

— Ну, теперича на гулевань!..

Зыков вымахнул вперед отряда, за ним — сподручные. Развернули знамя. Рожечники наскоро продули берестяные рожки, дудари испробовали дудки, пикульщики — пикульки.

— Айда за мной!

Ударил барабан, горласто задудили многочисленные рожки и дудки, два парня бухали колотушками в медные тазы, в которых только-что варили хлебово, свистуны в такт барабану оглушительно высвистывали.

Музыка стонала, выла, скорготала, хрюкала. Партизан от этой музыки сразу затошнило, у всех заскучали животы. Гараська заткнул уши пальцами и скривил рот: ужасно хотелось взвить собакой.

Даже Зыков густо сплюнул и сказал в бороду:

— Вот сволочи... Аж мороз по коже...

Как только вступили в город, рыжий дядя Срамных сделал выстрел, тогда на всех колокольнях раздался торжественный трезвон. Глаза Зыкова чуть улыбнулись. Он ласково оглянулся на Срамных.

Все улицы по пути были освещены кострами. В переулках у костров выгнанные из домов и хибарок горожане, и в каждой кучке — зыковский всадник.

Народ по приказу кричал ура, махали шапками, платками, флагами, особенно усердствовали мальчишки.

Собаки раз'яренно кидались на рожечников, стараясь вцепиться в глотки лошадей. Крайний всадник снял с плеча вилы, ловко воткнул их в захрипевшего пса и перебросил через забор.

Зыков, гордо откинувшись, ехал на коне царем. Он совершенно не отвечал на восторженные крики. Только изредка подымал нагайку и выразительно грозил толпе.

Лишь показались ворота крепости, с вала пыхнул огонь и вместе с пламенем тарарахнул взрыв, как гром. Кони шарахнулись и заплясали. Бежавшая за отрядом толпа метнулась врассыпную, многие упали, опять вскочили, в ближних домах вылетели стекла.

Зыков с подручными рысью в'ехал в крепость.

На валу, около того места, где разорвало пушку, хрипя, полз на карачках бородатый, в поддевке человек. У самых ног зыковского коня он протяжно охнул, перевалился на спину и вытянулся, закатив глаза. На откосе неподвижно лежал еще один, зарывшись головой и руками в снег.

— Чурбаны неотесанные, — раздраженно сказал Зыков. — Из пушки палить не могут.

— Я им говорил, — замахал руками прибежавший, бледный весь, как полотно, солдат. — Пушка незнакомая, старинная, чорт ее ведает, что за пушка... А они до самых краев, почитай, набили порохом... Вот и... Трое твоих орудовали, двое тут-ка, эвот они... А третьего не знай куда фукнуло, поди, где ни то на крыше. Я от греха убегаю.

Еще подходили солдаты, тряслись, как осинник.

— Есть другая пушка? — спросил Зыков. — Ну-ка, давай сюда. И пороху сколько хочешь? Ладно.

Дружно тянули от церкви зарканенную ржавую тушу пушки. Подтащили к откосу. Кричали, подергивая концы аркана:

Раз-два! Еще разок!

Раз-два! Матка идет!  
Раз-два! Подается!

Но пушка подавалась туго. Она лениво вползала вверх, как стопудовая черепаха.  
— Дубинушку надо! — крикнул красавец Ванька-Птаха и заливисто запел:

Наш начальник Зыков  
Чо-о-рный!..  
Он отчаянный  
Задо-о-рный!..  
Да, э-е-е-ей, дуби-и-нушка, ухнем...  
Да, э-е...

— А ну! — Зыков соскочил на землю и впрягся в аркан.

Все надулись, сразу запахло редькой, и пушка, злобно ощерив рот, ходом поползла наверх.

— Миклухин! — крикнул Зыков. — Орудуй... Ты бомбардиром был. Греми раз двадцать...

Надобно на людишек трепет навести. А где ж красные правители? Большевики?

— В тюрьме... А главные перебиты были. Кой-кто остался.

— Всех на свободу.

— И жуликов?

— Всех. Моим именем. Большевики пусть спокойно по домам идут. Когда надо, покличу.

Да пускай смирно сидят, а то... — он ткнул кулаком в грудь и гордо крикнул: — Я здесь власть! — Лицо его было сурово. — Эй, Гусак! Объяви нашим, чтоб раз'езжались по домам. Чинно-благородно чтоб... моим приказом, строгим. Обид никаких. А то башки, как кочни, полетят! Гулять же будем по окончании делов. Срамных! Указывай фатеру.

Луна разогнала все тучи. От звездного неба шел голубоватый зыбкий свет.

Деревянный двух-этажный дом купца Шитикова, с колоннами и резьбой, выходил на соборную площадь. Стекла отливали голубым блеском, как на солнце темно-синий шелк. Внутри, одинокий, пугливо светился огонек. У ворот, по углам и во дворе стояли вооруженные партизаны.

— Двери, — сказал Зыков, влезая на крыльцо.

Сверкнула сталь двух грузных ломов, дерево затрещало, и Зыков с рыжим поднялись наверх.

Зыков двинул плечом запертую дверь, и оба пошли в заднюю комнату на огонек. Их шаги в пимах были тяжелы и мягки. В спальне горела лампа, у образов две лампадки. Хозяин и хозяйка стояли под лампадками, лицом к дверям, умоляюще скрестив на груди руки. Страх перекошил, исковеркал их лица.

— Здорово, ваше почтение, — прохрипел Срамных. — Давай деньги!.. Три тыщи! Видишь, сдержал слово, самолично Зыкова привел. Вот — он, он! Давай деньги! — и захохотал. Хохот был хищный, злорадный. У хозяев остановилось сердце, враз похолодела кровь.

— Все возьмите... Батюшки мои, отцы родные... — и оба повалились на колени.

— Богачество можешь оставить при себе, — сквозь зубы сказал Зыков, горой шагая на них. В глазах Зыкова Шитиков мгновенно увидел свою смерть. Кособоко откатнулся и, прикрыв голый, как яйцо, череп ладонями, пронзительно завизжал. Зыков резко два раза взмахнул чугунным безменом, и все смолкло.

— Приплод есть? — спросил Зыков.

— Нету. Бездетные они. — Все лицо и глаза Срамных были в слюнявой и подлой улыбке.

— А там кто охает? — Зыков пошел с лампой в соседнюю комнату.

— А это ейная мать, больная...

— Выбросить в окно. С кроватью вместе.

Рыжий с двумя партизанами подняли кровать:

— Побеспокоить, бабушка, придется.

Старуха онемела: ворочала глазами и, как рыба, открывала ввалившийся рот. Поднесли к венецианскому окну и раскачали. Вместе с двойной рамой все кувырнулось на мороз.

Выбросили и те два трупа.

— Эх, дураки... Холоду напустили, — сказал Зыков.

— Законопатить можно. Эвот сколько ковров, — ответил рыжий. — Эй, пошукай-ка, братцы, гвоздочков.

Зажгли все лампы.

— А внизу кто? — спросил Зыков.

— Приказчики, да Мавра, стряпуха ихняя.

— Позвать стряпуху. — И сел на кресло.

Мавра была слегка подвыпивши. У самой двери она брякнулась на колени и поползла к Зыкову, голоса басом:

— Ой ты, свет ты наш, ты ясен месяц... Батюшка, кормилец, не погуби... Разбойничек ангельский...

— Дура! Ты купчиха, что ли? Встань...

— Верная раба твоя... Ой, батюшка, милый разбойничек... — и заревела в голос.

Зыков нахмурился, подхватил ее под пазухи:

— Жирная, а дура, — и посадил рядом с собой на диван.

— Ой, ой, — скосоротилась она и засморкалась. — Ничевошеньки я знать не знаю, ведать не ведаю... Хошь режь, хошь жги... А только что...

— Слушай...

— Не буду у них, у проклятых буржуев, жить.

— Да слушай же...

— Знать не знаю, ведать не ведаю... Разбойничек ты мой хороший...

— Молчи, сволочь!. — внезапно вскочив, затряс Зыков под самым ее носом кулаками. — Срамных! Растолкуй ей, чтоб на двадцать ртов ужин сготовила... Да повкусней... А баня готова? Фу-у чорт, дура баба.

Третий раз грохнула пушка. Стекла и висюльки на лампе взикнули.

— Скажи тому обормоту, как его... Миклухину, достаточно палить. Завтра... — проговорил Зыков и пошел в баню.

Ему светил фонарем приказчик Половиков, нес веник с мылом, простыню и хозяйское белье.

Баня — в самом конце густого сада. Весь сад в пушистом инее, как черемуха в цвету. И все морозно голубело. На пуховом снегу лежали холодные мертвые тени от деревьев.

— Прикажете пособить? — спросил приказчик, приподымая шапку и почтительно клюнув длинным носом воздух.

— Нет. Уважаю один.

— Не потребуется ли вашей милости девочка или мадам? Можно интеллигентную... — приказчик осклабился и выжидательно стал крутить на пальце бороденку.

Зыков быстро повернулся к нему, задышал в лицо, строго сказал:

— Не грешу, отстань... — и вошел в баню.

Зажег две свечи, начал раздеваться.

Когда стаскивал с левой ноги пим, рука его попала в какую-то противную, холодную, как лягушка, слизь. Он отдернул руку. От голых пяток до боднувшей головы его всего резко передернуло, лицо сжалось в гримасу, во рту, в пищеводе змеей шевельнулось отвращенье:

— Тьфу! Мозги...

Он шагнул из бани и далеко забросил оба пима в сугроб.

От голубеющей ночи, со двора, пробирались к бане три всадника.

Зыков закрючил дверь, взял винтовку, китайский пистолет, нож и веник и нагишем вошел в парное отделение.

Когда он залез на полку и с азартом захвостался веником, пушка грохнула в четвертый и последний раз.

Продрогшие за длинный переход партизаны набились по теплым городским углам, кто где.

У молодой бабочки Настасьи пятеро. Маленькая, шустрая, она, как на крыльях, порхала от печки к столу, в чулан, в кладовку.

— Да ты ложись спать... Мы сами... Зыков не велел беспокоить зря. А Зыков скажет — отпечатает.

— Как это можно, — звонко и посмеиваясь возражала та.

На столе самовар, яичница, рыба, калачи — бабочка на продажу калачи пекла.

Четверо были на одно лицо, словно братья, волосы и бороды, как лен. Только у пятого, Гараськи, обветренное толсторожее лицо голо и кирпично-красно, как медный начищенный котел.

— А у тя хозяин-то, муж-то есть? — зашлепал он влажными мясистыми губами.

— Нету, сударик, нету... Воюет он... При Колчаке.



— При Колчаке? — протянул Гараська, прожевывая хлеб со сметаной. — Зыков дознается, он те вздрючит.

— По билизации, сударик... Не своей волей, — слезно проговорила бабочка, и сердце ее екнуло.

— По билизации ничего, — сказал мужик в красных уланских штанах. — Ежели по билизации, он не виноват.

Настасья успокоилась. Быстрые глаза ее уставились в бороды чавкающих мужиков.

— Кого же вы бить-то пришли? Большачишек, что ли?

— Кого Зыков велит, — сказал крайний мужик в овчинной жилетке с офицерскими погонами и крепкими зубами щелкнул сахар.

— Нам кого ни бить, так бить, — весело сказал Гараська и, обварившись чаем, отдернул губы от стакана.

— А ты нешто убивывал? — спросила бабочка.

— Убивывал. Я на приисках работал, там народ отпетый... Убивывал...

Глаза Настасьи испугались.

— Гы-гы-гы, — загоготал Гараська. — Вру, вру... А вот я бабенок уважаю чикотать, — он квакнул по-лягушачьи и боднул хозяйку в мягкий бок:

— А зыковский наказ забыл, паря? Оглобля!.. Чорт... — окрысились на Гараську мужики.

— Так тебе Зыков и узнал, — с притворной заносчивостью сказал Гараська, подмигивая мужикам.

Все плотно наелись и рыгали. Молодые мужики, раздувая ноздри, примеривались к хозяйке глазом: бабочка круглая. Вот только что Бог ростом обделил. Одначе, не хватит на всю артель.

— Ну, братцы, дрыхнуть.

Настасья улеглась за занавеской на кровати, партизаны в соседней комнатухе на полу, разбросив шубы.

Старший, Сидор, задал лошадям овса, помолился Богу и бесхитростно до утра завалился спать.

Почти по всему городку партизаны крепко спали. Только выходы на окраинах караулили зоркие глаза, да раз'езды, тихо переговариваясь, рыскали по улицам.

А вот за крашеными воротами драка, гвалт: два партизана, голоусик с бородатым, пьяные, вырывали друг у друга деревянную шкатулку.

— Моя! — кричал голоусик.

— Врешь! Я первый увидал.

И оба залепили друг другу по затрещине.

Раз'езд загрохотал в калитку и в'ехал во двор:

— Язви вас! Вы драться?!.

Партизаны крепко спали, и пушка сомкнула свое хайло, только обывателей мучила бессонница. Воля в каждом померкла, покривилась, всяк почувствовал себя беззащитным, жалким, как заключенный в тюрьму острожник. Люди были, как в параличе, словно кролики, когда в их клетку вползет удав. Озадаченные обыватели то здесь, то там чуть приоткрывали дверь на улицу и прислушивались к голубой морозной ночи.

Но ночь тиха.

И это обманное безмолвие еще больше гнетет их. Каждый предвидел, что завтрашний день будет страшен: сам Зыков здесь.

Трепетали купцы и все, у кого достаток, трепетали чиновники и духовенство. Мастеровые, мещане и просто беднота тоже вздыхали и тряслись: Зыкову как взглянется, и хорошая и дурная про него идет молва.

Ой, не даром нагайкой Зыков погрозил. А кто у костров стоял? Простой народ. Вот связались позавчера в бунтишко... Эх, чорт толкнул, попы подбили с богатеями!.. Эх, эх... Пускай бы правили городом большевики, тогда б и Зыков не при чем.

Фортки, двери закрывались, и долго в домах, в хибарках шуршал тревожный разговор иль шопот.

Весь город был в параличе.

Зыков, горячий, как огонь, выскочил из бани, — на красном исхвостанном веником теле чернеет широкий кержацкий крест, — кувырнулся в сугроб и запурхался в снегу.

— Стережете, ребята?

У всадников блестели под луной винтовки.

— Парься спокойно. Стережем.

Кому же спится в эту ночь? Непробудно спят на морозе Шитиков со старухой и женой, да еще в мертвом свете почивает утыканное крестами кладбище. Между могил стремглав несется ослепший от страха заяц, за ним, взметая снег, — голодная собака или волк.

Об убийстве Шитиковых в доме купца Перепреева никто не знает.

Сам Перепреев, плотный старик с подстриженной круглой бородой, ходит из угла в угол и зловеще ползет за ним его большая тень.

— Папаша, что же нам делать? Папашечка, — хнычет его младшая дочь Верочка, подросток. Она умоляюще смотрит на отца. Отец молчит.

Таня в темном углу возле окна, в кресле, поджала ноги под себя. Она, видимо, спокойна. Но душа ее кольшется и плещет в берега, как зеркальный пруд, в который брошен камень.

Таня знает: ночь за окном темна, ночь сказочна, грохочет пушка, луна прогрызла тучи, и кто-то пришел в их жалкий городишко из мрачных гор. Кто он? Русский ли витязь сказочный, иль стоголавое чудище — Таня этого не знает. И кто ответит ей? Отец, сестра, мать?

— Папашечка, послали бы вы на улицу приказчика разузнать. Напишите письмо начальнику в крепость, — говорит Верочка.

Отец бессильно, с горечью машет рукой, вновь залезает на окно, и выглядывает в фортку.

На тумбе, возле дома, торчит штык, чернеет борода:

— Эй, милый!

Но милый отворачивается и сплевывает в снег.

На диване, крепко перетянув голову полотенцем, охает хозяйка. Верочка подходит к ней, долго смотрит на нее, потом с чувством целует:

— Мамашенька...

Отец, как маятник, опять ходит из угла в угол, опустив голову. Ноги его начинают дрожать и гнуться.

— Растудыт твою туды. Надо к Перепрееву сходить, погреться, — шамкает промерзший в двух шубах караульщик. Он ударил в колотушку, вытаращил глаза на прочерневший раз'езд, пробормотал:

— Тоже... ездют... Пес их не видал, — и, открыв калитку, заковылял в купеческий двор.

— Куда лезешь? Пошел вон!

Караульщик остановился:

— Иду, иду, иду, — повернул назад, бубня в седую бороду: — Растудыт твою туды. Застрелют еще, анафимы... И управы на них нету. К кому пойдешь?.. Тоже, правители... Тоже прозывается Толчак. Чтоб те здохнуть, Толчаку... А убьют купца. Ох, Господи... Пойду спать, домой... Чорт с ними и с амбарами его... Все равно убьют... Потому — сам Зыков.

Зыков парился очень долго и пришел из бани босиком.

Весь Шитиковский дом был освещен.

За длинным столом шумели. Стол, как войсками плац, уставлен бутылками, рюмками, стаканами. Прислуживают приказчики и два подручных, в красных рубахах, мальчика. Головы у мальчишек вз'ерошены. Один, раскосый, дернул украдкой сладкого вина, и ему в соседней комнате приказчик нарвал уши.

Партизанов по выбору приглашал Срамных. Девять человек молодежи, крестьянских парней — все они верные, испытанные слуги Зыкова, сотники, десятники; остальные, человек пятнадцать, всех мастей бородачи, кержаки и крестьяне. Это самые близкие Зыкову люди, его свита, правая рука. Среди них два седовласых деда: бывший с золотых приисков старатель и еще — бобыль-мужик.

Хохот, разговор. Несколько бутылок выпито, много закусок с'едено. Но ужин еще не готов: Мавра и одноглазый повар-грек, приготавливавший днем обед в честь польских офицеров, погибают невиданные растегаи, варят пельмени, жарят баранину и кур.

— Зыков!

Все за столом поднялись, как пред игуменом монахи:

— С легким паром, Степан Варфоломеич!.. С легким паром... Пожалуйте... много лет здравствовать!

Спиныгнулись усердно, низко, и свисшие космы шлепали по воздуху.

Зыков молча сел в серединку. Справа от него, подложив под сиденье огромный свой топор, каким рубят головы быкам, мрачно восседал горбун. Он кривоногий, раскоряка, ростом карапузик, но могуч в плечах. Лоб у него низок, череп мал, челюсти огромны. Оплывшая книзу рожа его вся истыкана глубокими темными оспинами, словно прострелена картечью. Поэтому прозвище его — Наперсток. Большие белесые глаза красны, полоумны. Возле виска зарубцевавшийся широкий шрам. Наперсток говорит: медведь так обработал. Молва говорит: в разбойных делах мету получил.

Он весь во власти Зыкова, трепещет его и полон ненависти к нему. — Эх, скovyрнуть бы Степку, да на его место встать! — Зыков тоже тяготится им, хочет от него отделаться, но кровь крепко спаяла их судьбу.

А вот и ужин, пельмени.

— Ну, братаны, теперя можно погулять, — говорит Зыков, но шумливый стол не слышит. — Эй, я говорю! — И в тишине раздельно: — Гуляй, да дело не забывай. Довольно, посидели мы в тайге, в горах. Сегодня жив, а завтра нету. Гуляй, ребята... Нажретесь, спать здесь. На улку срама не выносить. В упрежденье соблазна. И чтобы тихо.

— Степан! — прервал его Наперсток. — Я на топоре сижу, — он засмеялся, как закашлял, тряся горбом, вросшая в искривленную грудь плешивая башка его повернулась к Зыкову и ехидно ослабила гнилые зубы.

Зыков ожег его взглядом и сказал:

— Одноверы! В грехе не сомневайтесь: время наше — война. Кончим, правую веру свою вспомним, очистим воздух, станем жить по преданию отец и праотец. Кто трусит — грехи в мою голову. Я — единая власть вам, и я в ответе!

Кержаки кивали головами, чавкали еду, запивали вином. Парни друг перед другом рассыпались в самохвальстве, вино пили, как воду, и все покашивались на Зыкова. Он глотал пельмени быстро, обжигался, хмуρο молчал.

В левое ухо говорил ему Срамных. Пред ним на столе каракулями исписанный лист бумаги. Здесь перечислены все, которых завтра ждет расправа. Зыков слушает молча, но брови его хмурятся, и на глаза набегают тень.

— Эй, служающий!.. Ослеп? Наливай, чорт, рыжа маковка! — кричат то здесь, то там.

Приказчик кожилится, штопором вытаскивая пробки. Свету много. В золоченой раме

«Король-Жених». В простенке — овальное зеркало. Зыков поднял голову и, прищурившись, долго смотрит на себя.

В горке, за стеклом блестит хрусталь и серебро. Пьяные глаза гуляк блестят, косясь на горку. Круглые часы пробили два. Зыков мрачен. Он выпил всего лишь два стакана вина, поднялся, внушительно сказал Наперстку:

— Наточи топор, — и вышел в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Ему хотелось уснуть, забыться. Разделся и лег на диван, покрывшись лисьим своим кафтаном. Но сон не шел. Думы, как бегучая вода в камнях, плескались в голове, сменяя одна другую и переплетаясь. Вот бы кликнуть клич, набрать миллионы войска и завладеть, очистить всю страну. А большевики? Во что они веруют, за что идут? За народ? А вот уж посмотрим... Друзья или враги?.. Еще отец...

«Отец, неужели и ты враг мне?»

Вот Зыкова призвали сюда. Надо начинать большое дело. А с чего начинать? И как укрепиться? Известно, страхом, кровью. А дальше? Где такие еще есть, Зыковы? Эй, вы, старатели!.. Подходи сюда, соединяйся!

Нет, надо спать, спать.

Но там шумят, ругаются. Громче всех орет Наперсток. А в окно бьет своим светом луна.

Череп и все скуластое лицо Федора Петровича под луной, как у покойника. Он еще не раздевался и не зажигал огня. Сидит у окна, нещадно курит. За окном луна и тишь.

— Федя, — в третий раз спускается по внутренней лестнице матушка.

— Ах, это слишком, — раздражается Федор Петрович. — Пожалуйста, прошу вас подняться вверх.

— Я беспокоюсь за отца Петра.

— А я беспокоюсь о судьбе города. Знаете, в чьей он власти?

За рыжебородым Павлухой к Настасье прошел Лука, за Лукой — едва не лопнувший от страсти Куприян. Настасья ничего. В Настасьино окно тоже бьет луна, и кустик герани на окне тихо дремлет. Гараська весь изворочался, испытался, притворяясь спящим, как и те, а сам клял Куприяна: «вот, дьявол, долго как». Гараська новичек, надо же старшим уваженье оказать.

Когда пробило на купеческих часах три, гуляки помаленьку-помаленьку распоясались, сначала песни завели, потом и пляс.

Наперсток, сидя, подбоченился, тряхнул горбом и гнусавым своим голосом крикнул плясунам:

— А что мне Зыков? Тьфу!..

В это время и Гараська, сменив Куприяна, самохвально заявил Настасье:

— А что мне Зыков? Тьфу!..

И до самого до утра забрался под ее ситцевое одеяло. Настасья ничего. Настасья целый год жила, как монашка.

От пляса, грохотанья в пол пятками дрожала печь, и бутылки на столе качались.

— Ух-ух-ух-ух!!

Все были на ногах, хлопали в ладони, орали кто во что горазд. Только Наперсток сидел на топоре, как припаялся:

— А Зыков эвот у меня где!.. Попробуй-ка, убей меня... Я те убью. Эй вы, кержацки морды! — гнусил пьяный Наперсток. — Все вы анафемы... Все вы прокляты, кобелье!.. Эй, сволочи! Идите ко мне в шайку. Я — атаман... Топор эвот! Грабить, ребята, будем. Девок портить, вино пить... — он схватил бутылку и, ухнув, пустил ее в зазвеневшие стекла горки. — Нна!.. Забирай, ребята, по карманам серебро да золото. Зыков жаднюга, сволочь. Не даст... Эй, бери в мою голову!.. А на Зыкова гостинец — вво! — он вытащил из-под сиденья топор и вдруг,

взвизгнув, высоко повис в воздухе.

Мимо смолкших, застывших плясунов, как корабль мимо ладей, прошел в одной рубахе и портах, грузный Зыков. В вытянутой вперед его руке дрыгал пятками, крутился и хрипел горбун. Зыков, скосив к переносице глаза, неторопливо прошел в крайнюю комнату, сорвал с разбитого окна ковер и выбросил горбуна на улицу.

Когда возвращался, в столовой и соседних комнатах притворно похрапывали, валяясь на полу, гуляки.

— Кутью сюда, долгогривых, — низким, твердым голосом бросил Зыков, входя в собор.

За ним шла ватага. На его голове новая лисья, с бархатным верхом, шапка. На лоб, из-под шапки, свешивались черные, подрубленные волосы.

— Надеть шапки! — сказал он, обернувшись. — Чего сняли? Нешто это Господня церковь? Это так себе... Обман.

Постороннего народу никого, одни мальчишки. Поповский Васютка тоже здесь.

Весь народ у лавок, у магазинов, у лабазов. Еще утром трубари трубили во всех концах: именем Зыкова, его веленьем будет раздаваться народу купецкое добро.

В городе никакой власти нет, кроме власти Зыкова, единой, страшной. На высокой качели, вчера приспособленной поляками для казни, висят с утра четверо мещан, две бабы и мальчишка. Толпа вздумала громить лавченку. Этих поймали. Зыков отдал приказ — вздернуть.

Все приказчики мобилизованы, но главная задача идет через руки партизан. Мелькают аршины, крепким кряком рвется каленый на морозе ситец, ножницы стригут куски сукна.

— Эй, тетка! Сколько семьи? Получай... Пять аршин кумачу, десять аршин ланкорту, три платка, восемь аршин твину. Пачпорт! — И карандаш резкую делает кривуль-отметку. — Следующий!..

Снуют по площади, по улицам нагруженные мукой, горохом, кумачами, обувками людишки. Румяная деваха радостно улыбается морозному солнечному дню: поскрипывая новыми полусапожками, она тащит нежданную получку и под мышкой банку с паточным вареньем.

Вылетел из лавки мальчик, бежит, машет связкой баранок, рад. Остановился у виселицы, взглянул на трупы и, печальный, тихо поплелся домой.

В крепости партизаны принимают от солдат оружие. Деловито, не торопясь и с толком. По богатым дворам забирают лошадей.

Зыков задал всем работу. Он в соборе, но он везде: и всякий из партизан, на какой бы работе ни был, видит строгие глаза его, слышит его голос. Зыков здесь.

А между тем солнце склонялось к закату, подрумяненными столбами валил густой дым из труб, и в соборе зажгли паникадило.

Зыков сидел на амвоне перед открытыми царскими воротами. На кресле положена архиерейская подушка, а под ноги брошены орлецы. По обе стороны его зажжены в высоких подсвечниках большие свечи — так распорядился для торжественности Срамных. От двойного свету сверху и с боков на бледно-матовом лице Зыкова играют тени, и серебрятся редкие седины в густой черной бороде. Лицо его незабываемо и страшно.

В церкви очень тихо, даже Наперсток присмирел, и его невиданной величины топор опущен вниз.

Тихо, все ждут знака. И по знаку выхватили с левого клироса старого протопопа. Парализованная, на левом клиросе, стояла кучка духовенства, начальства и чиновников, в кольце вооруженных партизан.

— Кто ты? — твердо спросил Зыков старика.

— Я Божий протоиерей. А ты кто, еретик? — также твердым, но тонким, по-молодому, звенящим голосом ответил священник.

Зыков нахмурился, закинул нога на ногу, спросил:

— А знаешь про протопопа Аввакума, про лютую смерть его слышал? От чьей руки?

— Не от моей ли?

— От вашей, антихристовы дети, от вас, богоотступники, табашники, никонианцы. Кто глава вашей распутной церкви был? Царь. Кому служили? Богатым, властным, мамоне своей. А на чернь, на бедноту вам наплевать. Так ли, братаны, я говорю?

— Так, так...

— С кем идешь: с Колчаком или с народом? Отвечай!

— Сними шапку. Здесь храм Божий! — и седая голова протопопа затряслась.

— На храме твоём не крест, а крыж.

Священник вскинул руку и, загрозив Зыкову перстом, крикнул:

— Слово мое будет судить тебя, злодей, в день Судный!

Зыков вскочил, в бешенстве потряс кулаками и снова сел:

— Отрубить попу руку, — кивнул он Наперстку. — Пусть напредки ведаёт, как Зыкову грозить.

Наперсток распялил рот до ушей, и реденькая татарская бороденка его на широких скулах расщеперилась.

— Стой, — остановил его Зыков и спросил сидевшего в кресле, напротив от него Срамных: — Эй, судья! Одобряешь мое постановление?

— Одобряю, одобряю, — захрипел, заперхал рыжий верзила. — Он, окаянный, возлюбим друг дружку по первоначально говорил... А опосля того, кровь, говорит, за кровь... Вот он какая, язвы его, кутья...

— Народ одобряет? — на всю церковь, и в купол, и в стены прогремел Зыков.

— Одобряем, одобряем... Долой кутью!

Протопоп побелел и затрясся. Зыков махнул рукой. Наперсток, раскачивая топор, как кадило, коротконого зашагал к попу.

Весь дрожа и защищаясь руками, тот в ужасе попятился.

— Погодь, куда!

Вмиг священник растянулся на полу, сверкнул топор, и правая кисть, сжимая пальцы, отлетела. Кто-то захохотал, кто-то сплюнул, кто-то иступленно крикнул.

— Дозволь! — мигнул Наперсток Зыкову и занес над поповской головой топор.

— Подними, — приказал Зыков.

— Вставай, язва! — Наперсток, расшарашив кривые ноги, быстро поставил обомлевшего священника дубом.

— Стой, не падай.

Из толпы, со смехом:

— Держись, кутья, за бороду!

— Здравствуй батя... ручку! — сорвался Срамных с места и протянул ему свою лапищу. — Батя, благослови!..

— Ну, здоровкайся, чего ж ты, — прогнусил Наперсток.

А Срамных крикнул:

— Возлюбим друг дружку, батя! — и наотмашь ударил старика по голове.

— Срамных! — и Зыков свирепо топнул.

Рыжий, хихикнув, как провинившийся школьник, сигнул на место.

Пламя свечей колыхалось и чадило, капал воск. Иконостас переливался золотом, и пророки вверху шевелили бегущими ногами.

На паперти хлопали двери. С ружьями входили партизаны, они снимали шапки и крестились, но, оглядевшись, вновь накрывали головы и с сопеньем протискивались вперед. В темном углу молодой парень-партизан снял серебряную лампадку, попробовал на зуб и сунул ее в мешок. Потом перекрестился и встал в сторонке, цепко присматриваясь к сияющим образам.

Священник был бледен, глаза его лихорадочно горели и побелевшие губы прыгали от возбуждения. Он не чувствовал никакой боли, но инстинктивно зажал в горсть разруб изувеченной руки. Сквозь крепко сжатые онемевшие пальцы бежала кровь.

— А теперича у нас с тобой, попишка, другой разговор пойдет, — сказал Зыков. — Не зря тебе оттяпал руку, гонитель веры нашей святой. Знаю вас, знаю ваши поповские доносы... Погромы учинять, народ на народ, как собак науськивать?!

— По-о-ехал, — нетерпеливо прогнусил Наперсток и поправил на башке остроконечную шапку из собачины.

— Знаешь ли, кто я есть, кутья?

— Злодей ты! Вот ты кто. — Священник рванулся вперед, и густой свирепый плевок шлепнулся Зыкову в ноги.

— Поп!! — И Зыков вздыбил. — Я громом пройду по земле!.. Я всю землю залью поповой...

— Проклинаю!.. Трижды проклинаю... Анафема! — Священник вскинул кровавые руки и затряс ими в воздухе. Из обсеченной руки поливала кровь. — Анафема! Убивай скорей. Убивай... — Голос его вдруг ослаб, в груди захрипело, он со стоном медленно опустился на пол. — Больно, больно. Рученька моя...

Зыков язвительно захохотал и враз оборвал хохот.

— Зри вторую книгу Царств, — торжественно сказал он, шагнул к попу и пнул его в голову ногой: — Чуешь? «И люди сущие в нем положи на пилы». Чуешь, поп: на пилы! «И на трезубы железны и секиры железны, и тако сотвори сынам града нечестивого». Читывал, ай не? — Зыков выпрямился и повелительно кивнул головой: — А ну, ребята, по писанию, распиливай напополам.

Наперсток пал на колени:

— Эй, подсобляй. Работай!..

Длинная пила, как рыба, заколыхалась и хищно звякнула, рванув одежду. Священник пронзительно завопил, весь задергался и засучил ногами. Ряса загнулась, замелькали белые штаны. Ему в рот кто-то сунул рукавицу и на ноги — грузно сел.

Парень с мешком было просунулся вперед, но вмиг отпрянул прочь, и по стенке, торопливо к выходу. Весь содрогаясь, он выхватил из мешка трясущимися руками лампадку, сунул ее на окно и пугливо перекрестился. Ему вдруг показалось, что пила врезывается зубами в его тело, от резкой боли он весь переломился, обхватил руками живот и с полумертвым диким взглядом выбежал на улицу.

— Следующего сюда! — приказал Зыков и опустился на парчевую подушку.

У сухого, лысого, в рясе, человека со страху отнялись ноги. Его приволокли. Он повалился перед Зыковым лицом вниз и, ударя лбом в половицы, выл.

— Кто ты?

— Дьякон, батюшка, дьякон... Спаси, помилуй...

— Какой церкви?

— Богоявленской, батюшка, Богоявленской... Начальник ты наш...

— Народ не обижал?

— Никак нет... Опросите любого... Я человек маленький, подначальный.

— Вздернуть на колокольне. Следующего сюда!..

Дьякона поволокли вон и на смену притащили толстого рыжего попа.

— Этот — самая дрянь, погромщик, — сказал Срамных.

— Чалпан долой.

Наперсток намотал на левую руку поповскую косу и, крякнув, оттяпал голову.



— Следующий! — мотнул бородою Зыков.

Солнце село за побуревшей цепью каменных отрогов. Над городом кровянилось в небе облако, и наплывал голубой вечерний час. Виселица и трупы на ней молча грозили городу.

Наперсток вышел последним.

— Ишь ты, принародно желает, сволочь... — бормотал он самому себе. — А по мне наплевать... Только бы топору жратва была.

Душа его напилась кровью, и взмокшие от крови валенки печатали по голубоватому снегу темные следы. Пошатываясь, он в раскорячку нес свой искривленный горб, и звериный взгляд его — взгляд рыси, упившейся крови до бешенства.

Через площадь, молча и бесцельно, двигаются конные, пешие партизаны, беднота.

Виселица замахнулась на всех. В пролетах колоколен, в воротах церковных оград тоже висят свежие трупы.

Три всадника на трех веревках водят по улицам коменданта крепости и двух польских офицеров. Средний всадник — Андрон Ерданский. На конце его веревкой толстый штабс-ротмистр пан Палацкий. Когда всадники едут рысью, пану очень трудно поспевать, он падает и, взрывая снег, с проклятиями волочется по дороге, как куль сена. Бегущие сзади толпой мальчишки смеются, кричат, швыряют застывшим конским калом. Прохожие останавливаются, из калиток выглядывают головы в платочках, в шапках и, как по приказу, деланно хохочут.

Черноусое лицо Андрона Ерданского болезненно-скорбно, озноб трясет его, и голова горит — бросить бы аркан, удариться бы в переулок и спать, спать... Но задний всадник не спускает с него глаз.

Весь город в красных флагах, купеческого кумачу Зыков не жалел. Флаги густо облепили дом купца Шитикова, и на балконе огромное красное, выдавшее виды знамя: — «Эй, все к Зыкову. Зыков за простой люд. Айда».

Гараська с Куприяном украли утром корчагу рассыпчатого меду.

— Надо водой развести, по крайности, похлебаем. Навроде пива, — сказал Гараська. Он вывалил в пустую шайку мед и опружил туда два ведра из колодца воды.

— Что ты, толсто рыло, делаешь!.. Пошто добро-то портишь? — выхватила у него ведро прибежавшая с рынка Настасья. В руке у нее только-что полученные подарки: женская кофта, шаль, пимы. — Выливай вон. Надо кипятком... Ужо я брагу вам сварю...

Она вбежала в домишко и запорхала взад, вперед, как угорелая. За ночь ее лицо осунулось, и голубые глаза были в темных, бессонных тенях.

Гараська взял винтовку и пошел на улицу.

— Эх, когда же по-настоящему гулевать-то станем...

Темнело. На блеклом небе бледными точками замерцали звезды.

Возле дома Шитикова горели костры, толпились люди.

Гараська направился к толпе, напряженно стоявшей у пылавшего костра. И, когда он пробирался вперед, взмахнул широкий топор Наперстка, сталь хряснула, покатила голова.

А какая-то румяная, в красном платочке тетя сладострастно взвизгнула, нырнула в толпу, но опять вылезла и уставилась разгоревшимися глазами на окровавленный топор. И вновь темная лапа выхватила трясущегося в серой поддевке старика.

— Зыков, спаси... Зыков, помилуй... Все возьми... — монотонно, как долгий стон, и очень жалобно молил он, упав на колени и подняв взгляд к террасе.

Но руки вцепились в него, как клещи, блеснул топор. Красноголовая тетя взвизгнула, нырнула в толпу, но любопытство взяло верх — снова вылезла. Она проделала так вот уже

двадцать раз, два воза трупов лежали на санях, и плаха — покривилась: от обильной крови под ней подтаял снег. В толпе приговоренных, оцепленных стражей людей, все время раздавались плач, стон, вопли.

Гараська был как во сне. Он только теперь вспомнил про Зыкова и перевел взгляд вверх: на возвышенном балконе стоял в черной поддевке, в красном кушаке, рыжей шапке, чернобородый, саженого роста великан.

Наперсток гекнул: — «гек!» — и вся толпа гекнула, топор хряснул, покати́лась голова.

— Злодий! злодий!.. — болезненно выкрикнул Андрон Ерданский и заметался по балкону. Ему вдруг захотелось броситься на горбуна и вгрызться ему зубами в горло. — Пан, пусти. Дуже неможется...

Возле Зыкова стояли люди, Срамных и другие, еще два парня с винтовками — стража.

— Веди сюда! — крикнул Зыков.

И к балкону подтащили коменданта крепости, поручика Сафьянова.

Лицо Зыкова в напряженном каменном спокойствии, он собрал в себе всю силу, чтоб не поддаться слабости, но пролитая кровь уже начала томить его. Наперсток подошел и ждал. Зыков с гадливостью взглянул в сумасшедшие вывороченные с красными веками глаза его...

— Довольно крови!.. — прозвучало из тьмы в толпе.

И в другом месте далеко:

— Довольно крови!

Плач, стон, вопли среди приговоренных стали отчаянней, крепче.

— Пане... Змилуйся!.. — и Андрон Ерданский повалился в ноги Зыкову, — Ой, крев, крев...

Тот быстро вошел чрез открытые двери в дом, жадно выпил третий стакан вина, отер рукавом усы и на мгновение задумался.

— Господи Боже, укрепи длань карающую, — промолвил он, крепко крестясь двуперстием, и вновь вышел к народу, весь из чугуна.

— Судьи правильные, рать моя и весь всечестной люд! — зычно прорезало всю площадь.

Гараська глуповато разинул рот и огляделся. Направо от него, на двух длинных бревнах, сидели судьи: бородатые мужики, молодежь, горожане и три солдата-колчаковца.

— Отпустить коменданта, ненавистного врага нашего, иль казнить?

— Казнить!.. Казнить!! — закричали голоса. — Чего, Зыков, спрашиваешь, сам знаешь...

— Казнить!.. Он нас поборами замучил... Окопы то-и-дело рой ему. Дрова поставляй... Троих солдат повесил... Девушке одной брюхо сделал... Удавилась... Они, эти офицерики-то с Колчаком, царя хотят!

— Вздор, вздор! Не слушайте, товарищ Зыков!.. — Поручик Сафьянов, комендант, был с рыженькими бачками, с редкими волосами на непокрытой голове, в офицерской, с золотыми погонами, растерзанной шинели. Он весь дрожал, то скрючиваясь, то выпрямляясь по-военному, во фронт. — Дайте мне слово сказать... Прошу слова!

— Ну?!

— Я принимал присягу. Служил верой и правдой... — голос офицера был то глух и непонятен, то звенел отчаянием. — А теперь я верю в вашу силу, товарищ Зыков... Я прозрел...

— Отрекаешься?

— Отрекаюсь, товарищ Зыков.

— Может, ко мне желаешь передаться?

— Желаю, от всей души... верой и правдой вашему партизанскому отряду послужить... Я всегда, товарищ Зыков, я и раньше восхищался...

— Тьфу! Гадина... — плюнул Зыков и подал знак Наперстку, но тотчас же крикнул: —

Стой! — уцепился руками за балконную решетку и его медный голос загудел по площади: — Эй, слушай все!.. Зыков говорит... Власть моя тверда, как скала, и кровава, во имя божие. Где проходит Зыков, там — смерть народным врагам. Нога его топчет всех змей. Долой попов! Они заперли правую веру от народа, царям продались. Новую веру от антихриста царя Петра, от нечестивца Никона народу подсунули, а правую нашу веру загнали в леса, в скиты, в камень... Смерть попам, смерть чиновникам, купцам, разному начальству. Пускай одна голь-беднота остается. Трудись, беднота, гуляй, беднота, царствуй, беднота!.. Зыков за вас. Эй, Наперсток, руби барину башку!

Но вдруг с зыковского балкона грянул выстрел, Наперсток схватился за шапку, любопытная тетя, взмахнув руками, навеки нырнула красным платком в толпу.

Судьи мигом с бревен к террасе:

— Не тебя ли, Зыков? Кто это?

Подбежал и Наперсток с топором:

— В меня, в меня стрелил... в шапку!..

На полу, у ног Зыкова катались клубком Андрон Ерданский и обезоруженный им парень-часовой.

— Отдай! Добром отдай! — вырывал свою винтовку парень.

Безумный Ерданский грыз парню руки, стараясь еще раз выстрелить в толпу, в Наперстка-палача. Все люди казались ему проклятыми горбунами, измазанными кровью уродами, всюду блестели топоры и, как птицы, табунились отрубленные головы.

— Эх, тварь!.. Не мог кого следует убить-то! — И молниеносный взор Зыкова скользнул от неостывшей винтовки к вспотевшему лбу Наперстка. — Мало ж ты погулял, щенок... — он приподнял Ерданского за шиворот и, перебросив через перила, сказал: — Вздернуть!

Но Наперсток, рыча и влаивая, стал кромсать его топором.

# Глава 10

— Мужики! Зыков город грабит, а вы, гладкорожие, все возле баб да на печи валяетесь! — еще с утра корили бабы своих мужей в ближней деревне, Сазонихе.

И в другой деревне, Крутых Ярах, колченогий бездельник, снохач Охарчин, переходя из избы в избу, мутил народ:

— Айда, паря! Закладывай, благословясь, кошевки... Зыков в городе орудует... Знай, подхватывай!..

И в третьей деревне бывший вахмистр царской службы Алехин, сбежавший из колчаковской армии, говорил крестьянам:

— Нет, братцы, довольно. Кто самосильный — айда к Зыкову!.. Народищу у него, как грязи. Вон, поспрошайте-ка в лесу, при дороге, его бекетчики стоят. Поди, мне какой ни какой отрядишка доверит же он. Пускай-ка тогда колчаковская шпана, пятнай их в сердце, грабить нас придет, али нагайками драть, мы их встретим...

И на многочисленных заимках зашевелился сибирский люд.

Это было утром.

А теперь, когда луна взошла, и Гараська с ватагой рыщут по улицам...

Взошла луна — и городок опять заголубел.

Где-то далеко, на окраинах, постукивали выстрелы. Зыков слышит, Зыков отлично знает, что это за выстрелы, и спокойно продолжает дело.

Настасье хочется на улку погулять, но у ней ключом кипит брага, топится печь, она одна.

И отец Петр вместе с другими мужиками подошел к костру, там, на окраине. Он переоделся, как мужик: пимы, барловая, вверх шерстью, яга, мохнатая с ушами шапка.

В голубом тумане, на реке, по утыканной вешками дороге, чернели подводы мужиков.

— Допустите, кормильцы... Чего ж вы?

— Нельзя, нельзя! Поворачивай назад!

Пять партизан загородили им дорогу.

— Допустите, хрещеные... Мне хошь пешечком... — мужичьим голосом стал просить отец Петр-мужик.

— Здря, что ли, мы эстолько верст перлись... Сами-то, небось, грабите, а нам так... — сгрудились, запыхтели мужики. — Пусти добром! — У кого нож в руках, у кого топор.

Пять партизанских самопалов грохнули в небо залп. Мужики самокатом по откосу к лошадям.

К противоположному концу городка другая дорога прибежала с гор. Там тоже стоял обоз, рвались в город мужики. И колченогий снохач Охарчин тоже здесь:

— Достаток у нас малой. Толчак на вовся разорил... Желательно купечество пощупать.

Залп в воздух. Но не все мужики убежали. Осталось с десятков «вершних», на конях.

Вахмистр царской службы Алехин под'ехал к самому костру. Низенькая и толстобокая, как бочка, кобыленка его заржала.

— Мне к хозяину лично, — сказал он, — к Зыкову.

— По какому экстренному случаю? — спросил партизан, тоже бывший вахмистр. Из башлыка торчала вся в ледяных сосульках борода и нос.

— Вот, товарищей привел... Желательно влиться в ваш отряд, — сказал Алехин. — Завтра еще под'едут.

— Езжай один. Скажешь, что Кравчук впустил. А вы оставайтесь до распоряженья. Слезавайте с коней... Табачок, кавалеры, есть?

Еще где-то погромыхивали выстрелы, то здесь, то там, близко и подальше. Зыков знает, что это за выстрелы: раз'езды расстреливают на месте грабителей и хулиганов.

Но Гараська хитрый: Гараська смыслит, в какие лазы надо пролезать. Мешок его набит всяким добром туго, по карманам, за пазухой, под шапкой — везде добро.

И ружьишко на веревке трясется за плечом, как ненужный груз.

Он идет задами, огородами, по пояс пурхаясь в сугробах:

— Отворяй, распроязви!.. С обыском!.. — и грохает прикладом в дверь.

Дьяконица старая. Гараська выстрелил в потолок, взломал сундук. Эх, добра-то!

Гараська ткнул в мешок отрез сукна, — не лезет. Выбросил из мешка чугунную латку, а вот как жаль: хорошая; выбросил медную кострюлю, опять туго набил мешок.

На столе фигурчатая из фарфора с бронзой лампа.

— Такие лампы я уважаю, — пробурчал Гараська. — О, язви-те! Стекла, — и грохнул в пол.

В доме было тихо. Лишь из соседней комнаты прорывались истерические повизгиванья. Гараська сгреб стул и ударил в шкаф с посудой. Движенья его неуклюжи, но порывисты и озорны.

На шкафу большой, круглый, пирог с вареньем, Гараська отхватил лапами кусок и затолкнул в рот. — «Эх, хорош самоварчик, аккуратный», — пристреливался Гараська глазом. — «Не унести... Другой раз... А сгодился бы... Чорта с два, чтоб я стал Зыкову служить... Нашел Ваньку. Приду домой, оженюсь, богато заживу». — Жрал, перхал, давился, вытягивая шею, как ворона. «Эх, недосуг». Он поставил блюдо с пирогом на пол, расстегнулся, присел и, гогоча, напакостил, как животное, в самую серединку пирога.

Костры возле Шитикова дома горят ярко, охапками швыряют в них дрова, пламя лопочет, кольшется, вплетаясь в голубую ночь.

— Вот ты, Зыков, наших попов кончил, другие — которые хорошие... Это не дело, Зыков. А самую сволоту оставил! — кричали в толпе.

— Кого? — спросил тот.

— Отца Петра. Самый попишка жидомор...

И в разных местах:

— Нету его! Нету, уж бегали... Третьеводнись на требу уехал.

— На кого еще можете указать? — крикнул Зыков. — Не было ли обид от кого?

Народ только этого и ждал. Как ушат помой, доносы, кляузы, предательство. Из домов и домишек выхватывались люди. Звериное судьбище, плевки, матерщина, крики, гвалт. Петька Руль у Пахомова в третьем году хомут украл, Иванов о Пасхе жену Степанова гулящей девкой обложил, тот колчаковцам лесу для виселиц дарма возил, этот худым словом Зыкова облаял.

— Врешь, паскуда, врешь!.. Ты мне два ста должен. Смерть накликаешь на меня?! Дешево хочешь отделаться, варнак. Да ты за груди-то не хватай, жиган такой! А не ты ли в зыковских солдат выстрел дал? Ну-те-ка, опросите Лукерью Хвастунову...

— Эй, Лукерья!.. Где она? Бегите за Лукерьей Хвастуновой.

— Здесь она... Лукерья, толкуй!

Гвалт, крики, слезы, ругань. Ничего не пившая толпа была пьяна. Мещане, мастеровые, гольтепа, все распоясались, у всех закачался рассудок.

Наперсток пощупал ногтем, не затупился ли топор. Выстрелы, костры, кровь, где-то ревели хором хмельную песню, и на площади, как в кабаке: кровавый хмель.

— Чиновник Артамонов ты будешь?

Федор Петрович подытоживал на счетах ведомость, все не выходило, врал.

Поднял голову. У двери стоял Вася, а перед Федором Петровичом — солдат и бородач.

— Зыков приказал тебе притти к нему.

— Зачем это? — его лысый череп, лицо и комната были зелены. Зеленый колпак на лампе дребезжал, и прыгали орластые пуговицы на потертом вицмундире.

— Зачем?

— Неизвестно. Велено.

Артамонов, облокотившись на стол, дрожал крупной дрожью. «Знаю, зачем. Убить».

— Пошлите его к чорту! — крикнул он, и словно не он крикнул, а кто-то сидевший в нем. — Мне некогда. Ведомость... Я в политике не замешан, колчаковцам и разной сволочи пятки не лижу... А ежели надо, пускай сам сюда идет...

— Ну, смотри, ваше благородье.

Оба повернулись и, хихикая, вышли вон. Погоня коня, бородач сквозь смех говорил солдату:

— Что-то Зыков скажет? Антиресно...

Зыков удивился:

— Ну? Неужто так-таки к чорту и послал? — нахмурил лоб, подумал и сказал улыбаясь: — Молодец. Не трогать.

— Он хороший человек!.. Спасибо! Не трог его... Только выпить любит... — кричали в толпе.

Зыкову наскучило, ушел в дом, хватил вина и устало повалился на диван.

— Аж голова во круги идет... Фу-у-у...

— Фу-у-у, язви тя! Видала, Настюха, что добра-то? — ввалился потный, весь в снегу, запыхавшийся Гараська. — В деревне сгодится... Женюсь... Думаешь, Зыкову буду служить? Хы, нашел Ваньку. Ну, и натешился я... Только женски все сухопарые подвертывались, а я уважаю толстомясых... Ого, бражка! Давай, давай... А где же наши? — Гараська выхлестал два ковша браги, спрятал под лавку мешок: — Ежели хошь иголка пропадет, убью... — взял другой мешок, пустой, пошлепал Настасью по заду и удрал.

Кой-где, по улицам, по переулкам, возле домов и домишек с выбитыми стеклами валялись не то пьяные, не то расстрелянные солдаты, выпущенные из острогов в серых бушлатах арестанты и прочий сброд. Улицы безлюдны, раз'ездов не попадалось, с площади доносился неясный гул.

Зыков задремал.

А внизу Мавра, повар и приказчики пекли блины. Блинов целая гора. Блинный дух повис над площадью, над долиной реки, над темным лесом.

А там, за лесистыми горами, в недоступных взору горизонтах, притаились села, города, столицы, белые и красные. На восток, по стальным, бездушным лентам, спешат грохочущие поезда, набитые тифом, страхом, отчаянием. Это люди бегут от людей же, бегут, как звери, по узкой звериной тропе вражды. И, как звери, они безжалостны, трусливы и жестоки. Люди, как звери, одни бегут, другие нагоняют. Вот настигли. Горе, горе слепому человеку. Даже луна в звездных небесах грустно скосила глаза свои на землю, а над всей землей стояла голубая ночь. Над землей стояла ночь, но красные знамена приближались.

Гараська поднялся по лестнице и твердо ударил прикладом в дверь:

— Кто тут?

— Свои.

Гараська выбросил Васютку на крыльцо и запер двери.

— Товарищ, вам кого?.. Мы ж бедные... Товарищ!.. — схватившись за сердце и пятясь, вся задрожала Марина Львовна.

— Гы-гы... Тебя, толстущечка, тебя!.. — Гараська бросил мешок, сорвал с своих

вздыбившихся плеч полушубок. — Такая нам давно желательна... Ложись, а то убью.

Гараська сразу оглох от резкого крика попадьи.

Вихрем взлетел снизу Федор Петрович:

— Это что? Вот я тебя сейчас из револьвера, чорт! Ах ты!!!

Гараська грохнул его на пол, дакнул за горло и орангутангом бросился на попадью, с треском и гоготом разрывая ей одежду:

— Титьки-та... Титьки-та!..



Блины готовы, топор ослаб, и кровь на площади остановилась.

Всех недобитых отвели в деревянную церковь и заперли под караул. Зыков знает, как с ними рассчитаться.

А возле шитиковских хором затевается штука, ой, да и занятная история.

Пред самой террасой очистили от народа площадь. Караульщик в двух тулупах пришел с лопатой, но толпа так утоптала снег, что гладко. Ковер за ковром тащут подвыпившие партизаны и кладут на снег рядами, плотно, ковер к коврику. Выносят мебель. Вот выплыла на террасу из распахнутых дверей, как ладья из ущелья, черная грудь рояля.

— Сады! Тащи сады! — командует Срамных.

Шитиковский дом богатый, первый дом, и «садов» в этом доме много. Пальмы, фикусы, пахучие туи выкатывались в кадучках на мороз и выстраивались в ряд по грани дорогих ковров.

Шитиковский дом самый богатый, но, пожалуй, и Перепреевский дом ему подстать.

— Тпру! — чернобородый чугунный Зыков соскочил с черного коня и бросил поводья стоявшей страже.

В широкую спину его поглядели большие желтые глаза, и один бородач сказал другому:

— Видно, сам прикончить пожелал.

Зыков вошел в Перепреевские покои, как в свой дом, один.

Федор Петрович пошевелился и застонал. Гараська наскоро выпил второй стакан водки и вильнул в его сторону мокрым глазом:

— Вот что, попадья, — прогнусил он Марине Львовне, расстрепанно сидевшей на полу. — По присяге я тебя должен чичас зарезать, язви-те... Потому как всей кутье секим-башка...

Матушка захлюпала и замолилась.

— Не вой, — и Гараська улыбнулся. Его глаза и улыбка были слюнявые и липкие, как грязь. — Потому как ты очень примечательна, я тебя не потрогаю... А надевай ты, матка, штаны, шапку да тулуп и беги скорей к знакомым... А то придут наши, смерть... Ох, и скусна ты, матка, язви-те...

Огарок на столе чадил, Гараськина головастая тень пьяно елозила по беленым стенам, в окно косо смотрела луна, а под луной, по улицам раз'езжали партизаны: пикульщики пикали на пикульках, дудильщики дудили в дуды, бил барабан и раздавались крики:

Эй, попы, купцы, дворяне,  
Чиновники и поселяне,  
И вы все, мелкие людишки,  
Пискари, караси, ершишки!..

Зыков всех зовет на блины-ы!!.  
Представленья смотреть, веселиться,  
Всем чертям молиться...  
На блины-ы-ы!!.

И под луной же, там на крепостном валу, искусник-пушкарь Миклухин задувает в пушку тугой заряд. А Настя управилась с делами, обрядилась во все новое и, беспечально поскрипывая по снегу новыми полсапожками, шла под луной на пикульи голоса и крик.

Может быть, от этого крика или потому, что в комнату вдруг вошел огромного роста человек, Таня вскочила с дивана, оторвав от заплаканных глаз платок.

— Мне не по нраву, когда в горнице темно... Дайте огня.

Таня бросилась в ближайшую дверь, и, переполошный, замирал-удалялся ее голос:

— Зыков, Зыков...

Огня не подавали. Он твердо пошел вслед за Таней. В крайней ярко освещенной комнате, сбившись в кучу у стены, тряслись три женщины. Когда Зыков вошел, они подняли визг и заметались.

Таня с криком вскочила на кровать и, схватив подушку, прижалась с нею в угол.

В этот миг ахнула с крепости пушка. Дом вздрогнул, а Настасья сунулась носом в снег и захохотала. Гараська бежал огородами с тугим мешком домой. Тоже упал, поднялся и пьяно проговорил:

— Ух, язви-те!.. Как подходяво вдарило...

— Я все купецкие семейства убиваю. Вам же бояться нечего... Это говорю я, Зыков. Ребята караулят ваш дом надежные... Не пугайтесь, — и он кивнул головой на девушку: — Молите бога вот за нее, за эту.

У Тани вдруг расширились глаза, от страха, или от чего другого, и тонкие губы раскрылись.

— Танюха, поди сюда! Брось подушку.

— Зыков, отец родной... Ой, голубчик... — и мать упала на колени.

Он сдвинул брови и упер железный взгляд в большие остановившиеся глаза девушки:

— Ну!

Татьяна соскользнула на пол и послушно стала подходить к нему, высокая, упругая, не понимая сама, что с ней. Он шагнул навстречу и грузной рукой погладил ей голову. Черные девичьи косы туго падали на спину и Зыкову показалось, что все лицо ее — два больших серых глаза под пушистыми бровями и маленький алый рот.

— Вот, к разбойнику подошла... Вся в черном, как черничка... — ласково сказал он.

Девушка крикнула:

— Ах! — внезапно вскинула руки на плечи Зыкова и застонала: — Ой-ой, зачем вы папочку убили?.. Папочку...

— Так надо, — сказал он, тяжело задышав, и подхватил повалившуюся на пол девушку: — Ну, зашла, сердешная...

У Тани глаза закрыты, улыбка на побелевшем лице и скорбь. Понес ее на кровать. Руки девушки повисли, как у мертвой, и повисли две черные косы ее.

Когда нес, мать и Верочка бросились к Тане. Верочка затряслась, затопала, отталкивая его кулаками:

— Уходи, убийца!.. Прочь!.. Ты папашеньку убил... За что? Он хороший был... Он честный был... А ты дрянь, мерзавец!.. — и злобная слюна летела во все стороны.

Он выхватил из графина пробку и быстро смочил водой полотенце. Таня открыла глаза.

— Испужалась? А ты не бойся, — сказал он, улыбаясь. — Эх ты, дочурка... А я в гости тебя звать пришел, на гулевань... Чу!

Опять грохнула пушка.

— Ну, отлеживайся... Ужинать к тебе приду... — Он взглянул на свои часы. — Ого, первый. Ну, не бойтесь. Будете целы.

Снег взвивался из-под копыт его лошади, а там, на окраинах, снег мирно блестел и в окна домов и домишек била луна.

В лунном свете и свете огарка, как лунатик, поднялся с полу Федор Петрович. Сипло закашлялся, покосился на какого-то человека в тулупе и шапке, хотел крикнуть, хотел выгнать

вон, но, повертывая посиневшую большую шею, робко и крадучись, стал спускаться вниз, к себе.

Незнакомый дядя в тулупе и шапке торопливо выгребал все ценное из комодов, сундуков, ларчиков и вязал в большой узел, в простыню.

Это была матушка, Марина Львовна, попадья.

Зыков захохотал.

Перед ним за огромным столом, на мягких шелковых креслах, сидели гости: купечество, баре, белая кость. Наряд их богат и пышен. Шляпки — чудо: с перьями, с птичками, с цветами — одни нахлобучены каравайчиками до самых до бровей, другие сидели на затылке. У носастой дамы, что в середине с веером, шляпа прикреплена атласной лентой: лента процвела сиренью по ушам, по волосатым скулам и под огромной желтой, как сноп, бородицей — великолепный бант. Дамы до-нельзя напудрены и нарумянены, но многие из них страшно бородаты, и на лицах свободного от шерсти места почти нет — белеют и краснеют лишь носы и лбы. Груды у дам, как у кормилиц. Купчиха Шитикова, чьи наряды красовались на гостях, была женщина тучная, крупная: гостям как раз, только у троих лопнули кофты.

Пегобородый Помазков с огромным турнюрором и в кружевном белоснежном чепчике, толстозадый Опарчук в бабушкиной рубахе, очках и красной шляпе, а Митька Жаба в одних панталонах с кружевами и корсете. Курмы, душегреи, капоты, холодаи горят разными цветами. Дамы разговаривают очень тонкими голосами, курят трубки, сипло отхаркиваясь и сплевывая через плечо. Мужчины в сюртуках, пиджаках, поддевках, халатах.

Зыков смеялся, всматривался из-под ладони в лица, с трудом узнавал своих.

— Залазь, Зыков, гостем будешь!

Сряду же после третьей пушки в соборе и других церквях ударил малиновый пасхальный трезвон. Толпа горожан, что густо окружала ковровую площадку, враз повернула головы.

А трезвон летел в ночи, веселый и нарядный, гулко бухали тяжелые колокола и в трезвоне, в лунном свете чинно двигался из собора крестный ход. Где-то там, все приближаясь, колыхались церковные напевы, и следом в разноголосицу звенело звонкое ура ребятишек.

Толпа расступилась, изумленно разинула рты, пропуская незнакомое духовенство. Ирмосы священники пели в двадцать ядреных голосов, многие из граждан сдернули шапки, закрестились, но, прислушавшись к словам распевов, раскатисто захохотали и напялили шапки до самых переносиц, а некоторые с плевками и руганью пошли прочь.

Лишь только духовенство, сияя ризами, вступило на ковры, гости бросились под благословение к долгобородому архиерею. Тот благословлял всех наотмашь, приговаривая:

— Изрядно хорошо, — и совал для лобызанья кукиш.

Возле архиерея лебезили, потирая руки и кланяясь в пояс, осанистый купец в енотке и его жена долгобородая купчиха со шлейфом и под зонтиком — хозяйева.

— Пожалуйте, ваше просвященство, к самоварчику. Отцы крутопопы, отцы дьяволы... Ваши окаянства! Милости просим от трудов наших праведных...

Когда архиерей, благословив блины и питье, стал садиться, из-под него выдернули стул. Митра покатила, архиерей кувырнулся, задрал вверх ноги, и заругался матерно.

Настя смеялась, колокола трезвонили во-всю, огромные костры весело пылали, распространяя тепло и свет, а трупы удушенных смотрели с виселиц обледенелыми глазами.

Настя побежала домой — не ограбили бы хулиганы, а когда вернулась — горы блинов были с'едены, вино выпито и вынесенная на улицу купеческая гостиная, вся в цветах, коврах, мебели, оглашалась дружным ревом: духовенство соборне служило молебн.

На рояли стояло кресло, в кресле высоко восседал в ризах пьяный поп, держащий под пазухой четверть водки. Лохматый протодьякон выхватил изо рта трубку и по-медвежьи взвыл:

— Завой-ка глас шесты-ы-ый!..

Архиерей, воздев руки и, с трепетом взирая на сидящего угодника, елейно залился:

— Приподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с...

Четыре дьякона возженными кадилницами чинно кадили угоднику, гостям, толпе зевак. Гости крестились кукишами, некоторые стояли на коленях, в толпе плевались, слышались недружелюбные выкрики и ругань.

Но все это тонуло в ответном благочестивом реве глоток:

— Приподобный отче попче, угости винишком на-а-а-с!..

Срамных сидел за роялем, как лесовик, он со всей силы брякал в клавиши двумя пятернями враз и дико орал какую-то разбойничью. Рояль гудел и грохотал, дико ревели гости и кадилницы, мерно позвякивая, курили фимиам.

Насте хотелось хохотать и оскорбленно плакать.

— Проклятые!.. Чтоб вас громом разразило... — сквозь слезы твердила она и заливалась хохотом.

В стороне за столом, совершенно один, всеми забытый и все забывший, сидел, пригорюнившись, Зыков. Он подпер голову рукой и о чем-то думал.

Настя хотела итти домой, но в это время:

— Благочестивые братие и сестры! — козлом проблеял архиерей и замахал руками. — По синодскому приказу сейчас начнется кандибобер!

Он круто повернулся, поправил митру:

— Работай!..

И все духовенство — скуфьи, камилавки, парчевые ризы — с азартом, разом накинuloсь на бородатых купчих. Купчихи, разыгрывая роль, визгливо кричали, бегали вокруг столов, опрокидывали стулья. Попы сладострастно схватывали их, валили на диваны, кровати, ковры и при всем народе делали вид свального греха.

Тогда сам Зыков плюнул, встал:

— Довольно!!.

Все быстро прекратилось. Только вблизи и подальше озлобленный гудел народ.

И в общем гуле колюче вырывалось:

— Святые иконы! Архиереев!.. Попов! Церкви!.. Тьфу! И не стыдно, Зыков?!.

А из толпы выделился сгорбленный и измызганной нагольной шубе человек, тот самый чахоточный мастеровой, портняга.

Он остановился пред чугунным великаном, как пред кедром сухая жердь:

— Сволочь ты, Зыков! Чума ты!.. Холера ты!.. — сквозь кашель скрипел он надтреснуто и звонко, втянутые щеки вспыхнули румянцем, воспаленные глаза, сверкая, запрыгали.

— В чем дело? — спокойно и смутившись спросил Зыков.

— Как в чем дело?! — и палка человека с силой ударила в ковер. — Зачем ты сюда пришел? Грабить, убивать да жечь?

Толпа ответно зашумела, пыхтящей волной вкатилась на ковры, кой-кто из партизан опасно схватились за винтовки, и сквозь шум сухая жердина больно секла чугунный кедр:

— Нешто за этим тебя, убивца, звали? Все испугались, все присмирели, а вот я не боюсь тебя, чорта... Руби, бросай в костер! Мне все равно подыхать скоро. А правду я тебе, сатане, скажу... Прямо в твои бельма бесстыжие... Нна!

— Чего зря ума бормочешь?.. Чего ты смыслишь?..

— Молчи, убивец, сатана! Какой ты к чертям правитель?.. Живорез ты... Погляди, что делают разбойники твои: грабят, увечат народ. Эвот винный склад разбивают, да водку жрут.

— Ка-ак?!. — и у Зыкова запрыгали щеки.

— А тебя лают, как собаку... Пра-а-а-а-витель!..

Зыков крикнул и утер полой взмокшее лицо.

— Это Наперсток мутит, — сказал Срамных. — Под тебя подковыривается.

— Знаю, — ответил тот и грозно зарычал: — Эй, горнист!.. Играй тревогу, сбор!.. Я им покажу, какой я есть правитель.

Гараська с тугим мешком ходко бежал прямо по дороге, за ним с руганью гнался косматый шерстобит, за шерстобитом — его дочь, девушка, крича и плача. У шерстобита в руках здоровый кол, и бежит он по морозу в одной рубахе и без шапки.

— Убью, дьявола, убью!..

Гараська бросил мешок и, подобрав полы, помчался, как наскипидаренная лошадь.

В это время, словно медный бич, резко взмахнул над городом медный крик трубы.

— Язви-те! Вот так раз... Тревога!.. — задыхаясь, крикнул Гараська и приурезал к площади.

По переулкам, из дворов, с реки бежали и скакали на конях партизаны.

— Айда скорей!.. Тревога... — перекидывались выкрики.

Одни сидели в седлах бодро, прямо, другие слегка мотались от подпития, третьи загребали ухом снег.

Труба сзывала, тревожно летели звуки и навстречу звукам...

— Товарищ Зыков!.. Я здесь, прибег... — Гараська кинулся к толпе, где строились широким кругом партизаны.

А перед Зыковым бросилась на колени растрепанная девушка:

— Заступись!.. Твой парень... ой, батюшки...

Молодое лицо ее рдело, волосы рассыпались по вспотевшему лбу, и глаза метались, как птицы в силке.

— Дочь моя... Дочь... варнак хотел изнасиловать, — потрясая колом, орал лохматый шерстобит. — Поддай его, убью!

Зыков быстро поднял женщину.

— Спасибо, что доверилась Зыкову, — сказал он. — Зыков защиту даст... Вот ищи... Все мои ребята здесь. Только, девка, смотри: ежели не сыщешь — вздерну. Знай! — и, погрозив безменом, он пошел по кругу вместе с ней.

— Вот он, вот! — ткнула она в Гараську и в страхе схватилась за Зыкова.

Гараська побелел и забожился.

— Стервец! — крикнул Зыков, сразу поверив девушке.

Гараська бросился на колени, но безмен взмахнул, и занесенную руку Зыкова не остановишь.

И уже Зыков на коне. Конь скачет, пляшет, из ноздрей валит дым, из-под копыт — пламя, из-за крыш, и здесь, и там, тоже вдруг вырвались дым и пламя.

— Пожар! Пожар!..

Это загорелись три церкви. По приказу Зыкова церкви с обеда были набиты соломой и дровами.

— Пожар, пожар!.. — зеваки-горожане бросились туда.

Четвертая церковь деревянная. Еще маленько, и она запылает ярче всех.

В ней пятьдесят три человека крамольных горожан ждут своего конца. Они все связаны общей веревкой. Пусть радуются кости протопопы Аввакума! В его честь и славу все приговоренные будут сожжены веленьем Зыкова, и двое поджигателей уже вбежали с огненными головнями в церковь.

Из открытых дверей повалили струйки дыма, послышались глухие стоны, плач, мольба, вот кругло, густо за клубился желтый дым, и вместе с дымом выскочили из церкви поджигатели.

— Сволочи! Чего не подождали?.. — прохрипел только что вбежавший с улицы страшный, опьяненный кровью, Наперсток.

— Куда ты, назад!.. Сгоришь...

Но тот, заготовав, с высоко занесенным топором бросился сквозь дым в церковь.

— Кайся, кто первый зачинал! — гремел на весь круг Зыков, и конь его плясал. — Помни клятву, не врать мне ни в чем... Говори правду. Хотели винищем обожраться, да колчаковцам в лапы угодить?!.

Было выдано восемь партизанов, да два солдата, да еще поймано семеро мещан.

— Чалпан долой!

Наперстка не было, и головы рубил Срамных.

Зыков с коня бросал ему:

— Монопольку сжечь. Немедленно... Пьяных расстреливать на месте... Я буду там...

Лишь десятая голова слетела с плеч, Зыков взмахнул нагайкой, конь взвился, обдав всех снегом, загудела земля, и всадник скрылся.

Наперсток с обгорелыми волосами выкатился в раскорячку из церкви, с его топора, лица и рук текла кровь. Он бросил топор и пал на снег. Рыча и безумно взвизгивая, он грыз свои руки, разрывал одежду, выл, катался по земле, как вывороченный с корнями пенек.

Потом бросился к реке, падая и вскакивая.

— Кровь... Кровь... — завывал он. — Зарежу, давай топор!..

И не было для него голубой ночи, простора, звезд: всюду кровь, горячая, липкая, опрокидывающая:

— Смерть... Смертынька...

Добежав, он припал к краю проруби и, ляская зубами, стал жадно лакать холодную воду, словно угоревший пес.

Черный, как чорт, гривастый конь на всем скаку остановился. Чугунный Зыков сгреб Наперстка за ноги и с силой сунул его башкой под лед:

— Прохладись.

Потом радостно, всем телом выдохнул: «у-ух!», двуперстно перекрестился, вскочил в седло и галопом — вдоль сторожевых костров.

Дома и церкви горели, как костры.

— В каждом домочке по человечку, окромя самых бедных, — секретно и тайком от Зыкова внушал Срамных кой-кому из партизан. — Это за красных им... за большевиков... Пускай знают... По приказу Зыкова. А что получше, тоже забирай.

Горели купеческие и поповские дома. Разворачивалась, коверкалась, горела крепость. Жгли винный склад. По всему городу вплетались в ночь густые клубы дыма, вопли, выстрелы, песня, отборная ругань, хохот.

Месяц уходит спать, ночь кончается, а разгул в обреченном городишке крепнет.

— Караул, караул!..

— Душегубы... Душе...

Песня и кровь, и хохот. Эй, кто может, убегай! А где же Зыков? Срамных носится на коне из конца в конец, Зыкова нет.

Было тихо, безветренно.

Вот глухо ударило во все концы и загудело: это на колокольне оборвался грузный колокол, прошиб кирпичный свод.

— Колокол... Колокол упал...

Собаки тоже разгульны, веселы и пьяны. Одноухая рыженькая сучка с удовольствием вылизывает в снегу Гараськин мозг.

Трупы удушенных мороз превратил в камень. В неверном свете зарева они покачиваются, пересмеваются, что-то говорят. Обезглавленные трупы тоже закоченели, валяются кучей и в одиночку тут и там. Головы их в шапках и без шапок чернеют на огненном снегу, скаля зубы. Их некому убрать: всяк живой по горло утонул в своей гульбе, в своем трепете и жутком страхе.

Ночь и весь воздух здесь в дыму, крови и похоти, и только там, ближе к звездам, к месяцу — безгрешная голубая тишина.

Но почему же этот самый Перепреевский?.. Впрочем, и в нем зазвенели стекла: гуляки хватили по раме колом и, смяв стражу, с криками ворвались в покои.

— Бей купецкое отродье!.. Режь!.. — и, вбежав в комнату, где яркий свет, враз остановились:

— Зыков!!.

Кучей, как бараны, бросились назад, давя друг друга и скатываясь с лестницы.

— Зыков... Зыков...

Но один из них, красавец Ванька Птаха, уже на улице вдруг круто обернулся, словно его что-то ударило в затылок, и обратно побежал вверх по лестнице.

— Ты, Зыков, кликал меня?

Зыков поставил серебряный кубок с вином и оглянулся:

— Нет.

— А мне почудилось — кликал.

— Садись... Тебя-то нам и надо... Снимай армяк.

Ванька Птаха живо распоясался, неуклюже поклонился Тане:

— Здорово живешь, госпожа барышня, — и, откинув скобку белых и мягких, как шелк, волос, застенчиво сел на краешек дивана.

Таня взмахнула густыми ресницами и уставилась в молодое, веселое лицо парня. Семь белых пуговок на высоком вороте его зеленой рубахи плотно жались друг к другу, как горох в стручке. На груди же была вышита райская птица и крупная надпись: «Ваня Мтаха». Девушка

грустно улыбнулась, по монашьему бледному лицу, на черную монашью кофту, скатилась слеза.

— Ну, Птаха голосистая, развесели, — сказал Зыков. — Сударыня-то моя чего-то куксится.

— Это мы можем, конечно...

Зыков тронул ладонью пугливое Танино плечо:

— А ты не куксись, брось.

— Странно даже с твоей стороны требовать, — и горько, и ласково ответила Таня.

— Э-эх!.. — и Зыков заерошил свои волосы.

А там, возле горящей колокольни, возле отгудевшего колокола, тоже раздалось многогрудно:

— Эх...

Там на колокольне, жарились четыре трупа, и когда веревки перетлели, раздавленные, один за другим, дымясь и потрескивая, радостно прыгнули в пламя.

И каждый раз толпа вскрикивала:

— Э-эх...

— Это, должно быть, колокол упал? Блямкнуло... — спросил Зыков.

— Стало быть колокол, — ответил Ванька Птаха.

Зыков дышал отрывисто и часто. Хмель гулял в голове, и кровь в жилах, как огонь.

— А вот я им уже покажу, чертям. Кажись, шибко разгулялись. Дьяволы.

— Гуляют подходяво, — сказал парень, и его взгляд встретился со взглядом девушки.

Зыков, чуть спотыкаясь, подошел к окну.

Парень разглядывал девушку, и ему вспомнилась грудастая Груня, невеста его, там, за лесами, в горах, в сугробах. И уж он не мог оторвать от Тани взгляда. Такого лица, таких глаз он не видал даже и во сне.

«Чисто Богородица», подумал он, и ему вдруг захотелось упасть пред нею на колени: «Ах ты, Богородица моя»...

А по соседству, за прикрытой расписной дверью, пред образом настоящей Богородицы молилась на коленях женщина, мать Тани, и слезно просила о заступничестве мать Христа.

Зыков загрохотал в двойную раму:

— Эй, вы, черти! — грозно закричал он сквозь стекла в огневую ночь. — «Эх, маху дал... Не унять теперя...» злясь на себя, мрачно подумал Зыков.

Ванька выпил большую чару вина.

— Пей еще, — Зыков подошел к столу. Не остывший взгляд его еще раз метнулся грозой сквозь стекла в ночь. «Однако, пойду угомоню щенков». Но оставить этот дом не хватало сил.

Ванька выпил. У Ваньки лицо тонкое, нос с горбиной и большие синие глаза.

— Пой.

Ванька поднялся, высокий, статный, одернул рубаху и отошел к простенку под зеркало. Штаны у него необычайные. Он был в штанах, как в юбке с кринолином. Ярко красные, в крупных огурцах, цветах и птицах, их сшила вчера старуха-прачка из трех украденных Ванькой драпировок. Таня опять сквозь слезы улыбнулась. Зыков заставил ее выпить вторую чару, и глаза ее стали безумны.

Ванька Птаха сложил на груди руки, потрянул головой и, покачиваясь, медленно, с чувством, с горем великим и тоской, запел:

Не бушуйте вы, ветры буйные,  
Не шумите вы, леса темные...



Голос его был густой, печальный, свежий. У Тани защемило сердце. Зыков откинулся на диване и смотрел Ваньке в рот. Скрипнула, чуть приоткрылась дверь, чье-то ухо припало к щели, и замерли в комнате все огоньки.

Ты не плачь, не плачь, красна девица,  
Не слези лицо прекрасное...

Таня вдруг заломила руки и со стоном повалилась головой на стол. Зыков встал, нагнулся над Таней:

— Дочурочка... Дочурочка... Эх!.. — и целовал ее в висок, в белый пробор на затылке меж черных кос.

Таня вся задрожала:

— Пусти меня, пусти... — и подняла на Зыкова свое покрытое слезами лицо, как солнце в тучах.

У Зыкова дрогнуло, колыхнулось все тело.

— Красота ангельская, неповинная... Дочурка! — он опустился пред ней на колени и ласково ухватил похолодевшие девичьи руки ее. — Не кручинься, брось... Поедем со мной в наши скиты. У нас в горах озера, быстры реченьки, сосны гудят...

— Зыков, миленький... Зыков, — истерично целует ему руки Таня.

— У тебя, Степан Варфоломеич, баба есть... Чего мутишь девку, — раздалось от зеркала. — А вот отдай мне...

— Молчи! Я ее в дочурки зову... Дурак! Тебе!.. — из глаз Зыкова брызнули черные искры.

Лицо парня вдруг стало бледным и потерянным.

— Врешь, Зыков! Я ее возьму!..

Луна давно померкла. Улица затихла. Предрассветное небо серо, как предрассветный сон. Колокола не благовестили к заутрени: колокола онемели, и кто ж будет служить в разрушенных церквах? Только бездомный отец Петр остался жив.

Отец Петр в одежде мужика разыскивает по городу свою жену и сына, да кой-кто из окрестных крестьян, нахрапом прорвавшись в город, благополучно возвращается домой, поскрипывая санями и озираясь.

Дом отца Петра догорает. В огне погребло все. Погибли и сводные ведомости коллежского секретаря Федора Петровича Артамонова.

А сам Артамонов, видимо, сошел с ума. Он забился в отхожее место на базаре, сидит там скрючившись, надтреснуто поет: «Царствуй на страх врагам, царь правосла-а-а...», хохочет и всех проходящих ругает последней бранью.

Колокола не звонят к заутрени, но старец Варфоломей поднялся с своего одра, зажег свечи у икон своей кельи, умылся, поцеловал крест на крышке гроба и встал на молитву.

— Сон мракостудный изми, Боже, из души моя...

Губы шептали горячо, рука крестилась усердно, но в груди был лед и мрак, глаза же горели яростно и дерзко.

Сегодня он должен образумить своих единоверов, ставших на разбойничью стезю. Должен, должен! Без того не умрет... И да будет проклят его сын, отступник...

А его сын, отступник, облокотился на бархатную скатерть круглого стола, стиснул руками свою голову, слушает Ваньку Птаху, и душа его рвется из силков.

У Тани слезы на глазах, и в голосе Ваньки Птахы слезы:

У залетного ясна сокола

Подопрело его право крылышко,

У заезжего добра молодца

Что щемит его ретиво сердце.

Зыков мотает головой и горько крякает. А Ванька Птаха, поводя плечами, еще страстней выводит седую песню. Он, как замороженный, ничего не видит, кроме колдовских девичьих глаз, и больше ничего ему не надо.

— Ах ты! Ах... — дико, страшно вскрикнул Зыков, он вцепился в свои волосы и застонал, глаза его налились тоской, как осенним черным ветром. — Будет тебе, дьявол!.. Эх... Давайте пить. Давайте гулять... Эх, Танюха, сердце мое... Пей!..

И все, как в угаре, и все — угар.

Таня пляшет и поет и плачет. В дверь высовывается голова матери. С воем летит в дверь, в косяк, бутылка и вдребезги, как соль.

— Эй, веселую! — кричит Зыков.

Ванька ударил ладонь в ладонь, прыгнул на середину комнаты и грянул плясовую.

Весел я, весел  
Сегодняшний день,  
Радостен, радостен  
Теперешний час.

Ванька пляшет, топочет, свистит, бьет каблуками в пол. Зыков пляшет, ухает, вскидывает руки и, когда бросается в присядку, дом дрожит и лезет в землю. Ванька притопывает, гикает, кружит тонкую былинку Таню:

Видал я, видал  
Надежду свою,  
Что ходит, гуляет  
В зеленом саду.

Таня, изгибаясь, притворно вырывается от парня, как от солнца день, вот подбоченилась, вот чуть приподнимает то справа, то слева край платья, и маленькие легкие ноги ее в веселом беге.

Зыков хлопает в ладоши, как стреляет, и в два голоса с Ванькой:

Щиплет, ломает  
Зелен виноград,  
Коренья бросает  
Ко мне на кровать.

Таня вся в угаре, вся в вихре: кружится, вьется, пляшет, и две косы, как тугие плети, взмахивают, плещут по воздуху. Таня хохочет, вскрикивает, хохочет, и слезы градом.

— Зачем заставляешь?.. Зыков!.. Мне больно, мне тяжело... Отца убил... Зыков, не мучь...

Таня кричит и хохочет, проклиная себя, проклиная всех, кричит: «Мамаша!». — А может и не кричит, может смирно сидит возле ярко горящей печки, а кричит за окном народ. И чуть-чуть слышно откуда-то сверху, откуда-то снизу из печки, из огня:

Спишь ли, мой милый,  
Или ты не спишь?..

И ей хочется обнять его, и ей страшно, она шепчет:

— Ваня, не целуй меня... Ваня...

А когда народ закричал громче и грозней, Зыков вывел ее на балкон, махнул рукой, и площадь смолкла.

— Вот жена моя! — крикнул Зыков. — Что, любя?

И площадь взорвалась, рассыпалась радостным криком, полетели вверх шапки, зазвонили колокола, загремели трубы, барабаны. Кони ржали, крутятся и вздымаясь на дыбы, и жаркое небо — все в цветах, все в птицах, в радугах. А сердце Тани ноет, сердце разрывается. На Зыкове золотой кафтан, отороченный соболем. Солнце бьет в кафтан, больно взору, Зыков могуч и радостен, как солнце, и сердце Тани пуще разрывается. Таня вся в солнце, в жемчуге, в парче.

— Танечка моя милая, доченька... — папаша подошел, папаша в длинном сюртуке, поздравляет ее, целует и целует Зыкова. И все целуют ее, родные и знакомые. Таня тоже хочет перекреститься, хочет поцеловать крест, что в руках у седого протопопа, но Ванька говорит:

— А как же я-то?

Тогда Зыков сказал Тане:

— Мы с тобой еще венцом не покрыты. Выбирай...

Таня взглянула на Ваньку, взглянула на Зыкова, взглянула в свое сердце и, прижавшись к Зыкову, сказала:

— Ты.

Но это был лишь мимолетный, милый, сладкий сон.

Таня открыла глаза и растерянно огляделась. Ваньки не было, валялся изломанный дубовый стул, уплывала в дверях чугунная спина Зыкова, уплывала чья-то рыжая взлохмаченная голова, и кто-то хрипел в углу.

К Тане на цыпочках подходили сестра и мать.

— Моли бога, что сердце у меня обмякло, — раздраженно бросил через плечо Зыков рыжему верзиле, — а то башку бы тебе за парня снес.

— А он не лезь, куда не способно, — оправдывал себя Срамных.

— Что ж ты людей-то распустил?! Нешто порядок это?

— Поди, уйми... Они, собаки, чисто сбесились от вина...

Зыкову нужно было освежиться. И чрез утренний рассвет, чрез поседевший воздух, он помчался от костра к костру, туда, за десятки верст вперед.

Впереди, далеко за горами, уже вставала красная заря, и среди белых, вдруг порозовевших равнин и гор, зарождались новые партизанские отряды.

И чудилось в морозном утре: развевается красное знамя, тысячи копыт бьют в землю, ревет и грохочет медь и сталь.

А назади, в горах, тоже вставало утро, и тусветный старец грозную ведет беседу с кержаками.

Зыков и про это чувствует.

Старец Варфоломей стоит на крыльце, пред толпой. Он еле держится на ногах, высокий, согнувшийся, белобородый. Синий, из дабы, ватный халат его подпоясан веревкой кой-как, наспех. Лысый череп открыт морозу. Тусветный старец весь, как мертвец, желтый, сухой, только в глазах, темных и зорких, светит жизнь, и седые лохматые брови, как крылья белого голубя. Трудно дышать, не хватает в Божьем мире воздуху. Передохнул тяжело, ударил длинным

посохом в широкие плахи крыльца и закончил так:

— Колькраты говорю вам, возлюбленные: расходитесь по домам. Все дела ваши — тлен и грех неотмолимый. Кровь на вас на всех и кровь на моем сыне-отступнике. Бежите же его, чадца мои! Вам ли заниматься разбойным делом? Наш Господь Иисус Христос — Бог любви есть. Мой сын-отступник сомустил вас, дураков: «бей богачей, спасай бедных!». Лжец он и хриstopродавец. Убивающий других — себя убивает. И загробное место ваше — геенна. В огонь вас, в смолу! К червям присноядущим и николи же сыту бывающим! Знайте, дураки!.. И паки говорю: во исполнение лет числа зри книгу о правой вере. Какой год грядет на нас? Едина тысяща девятьсот двадцатый. Начертай и вникни. Изми два и один из девяти — шесть. Свою купи один, девять, два, двенадцать. Расчлени на два — шесть и шесть. Еже есть вкупе — шестьсот шестьдесят шесть, число зверино.

— Истинно, истинно! — кто-то крикнул из толпы. — Старец Семион со скрытной заимки такожде об'яснял.

В груди у старца Варфоломея свистело и булькало. Он говорил то крикливо и резко, то с назябшей дрожью в голосе. Партизаны на морозе от напряжения потели, сердца их бились подавленно и глухо. Чтоб не проронить грозного, но сладкого гласа старца, они к ушам своим наставляли согнутые ладони. Тусветный старец вновь тяжело передохнул, взмахнул рукой и пошатнулся:

— И ой вы, детушки! Грядет Антихрист, сын погибели с числом звериным. И ой вы, возлюбленные чадца мои! Идите по домам, блюдите строгий пост, святую молитву, велие покаяние во Святом Духе, Господе истинном.

Взошедшее солнце ударило в темные загоревшиеся глаза старца Варфоломея, и, разрывая это солнечное утро, вихрем мчался по речному льду к опозоренному, обиженному городишке Зыков. Мозг его на морозе посвежел, но и посвежевший мозг не знал, что под чугунными копытами коня, под толстым льдом, упираясь мертвой головищей в лед, застрял в мелком месте мертвец, горбун, палач, Наперсток. А может и не застрял мертвец, — вода не приняла; может — вынырнул в соседнюю прорубь и точит на Зыкова булатный нож.

Зыкову и не надо это знать, Зыков знает другое.

Он ясно видит, ясно чувствует все последние дела свои, и в его сознание едучим туманом заползает страх: а так ли, верно ли, что скажут про его расправу красные? Гульба была большая, крови пролито много, а дело где, настоящее?

— А что мне красные! — хочет крикнуть Зыков и не может.

В душе пусто, горячее сердце остыло, как жарко натопленная печь, в которой открыли на мороз все трубы. Ха! Красные...

А тут еще эта купецкая дочь, монашка. Эх, зачем у нее такие глаза и косы, зачем голубиный голос, и вся она, как молодая рябина в цвету.

— Будя! Дурак! Баба... — и нагайка, жихая, бьет по взмыленным бокам коня.

Конь мчится, пламя из ноздрей, мчится дальше, прочь от адова соблазна, но с маху — стой! — как влип у крыльца Перепреевского дома.

— Дьявол!..

Милое, заветное крыльцо. Такое недавнее, только вчерашнее, а лютое сердце не может оторваться от него. Зыков рад задушить себя, рад проткнуть предательское сердце свое ножом. — Дьявол, куда ведешь!.. — но, в ярости стиснув зубы, он, как покорная овца на поводу, зашагал вверх, давя скрипучие ступени.

В городе открыты были главные купеческие лабазы и склады, жителям об'явлено: бери, сколько можешь унести. Об'явлено партизанам: бери, сколько можешь увезти.

И к полдню медным горлом горнист заиграл тревогу, сбор.

Приказ: Зыков грабить не позволяет. Склады сжечь со всем товаром, что не успели распределить. Казармы в крепости и все добро сжечь. Идут красные, но их могут опередить и белые. Сжечь!

Снова ожила вся площадь. Срамных выстраивал и поверял людей.

Зыков прощался с Таней. Таня, больная, потрясенная, лежала в кровати.

Голос его рвался и дрожал.

— Вот опять разбойничек к тебе пришел, Танюха, друг... Разбойничек, говорю...

Он понял в миг и навсегда, что эта девушка вся вместились в его душу, без остатка. И если бы можно было, он сейчас же убил бы ее, но сердце не позволяло.

— Голубонька... Ах ты, моя голубонька... — он нагнулся над ней, все лицо его дергалось от внутренней свирепой боли. — А пошла бы ты за разбойничка замуж?

— Зыков, миленький... Я никогда не забуду... Ты... ты... ты убил моего отца... Зыков...

— Я не убивал.

— Велел убить... И мать, и сестру... Зыков, золотой... Я поеду, полечу с тобой, с ним... на тройке... И кони крылатые, и ты на коне, с копьем... словно победоносец Георгий, весь в золоте... Папашенька, милый, не плачь... Мама...

Мать плакала, брызгала дочь святой крещенской водой. Зыков выпрямился, передохнул, сказал:

— Занедужилась девчонка, бредит.

— Где доктор, где фельдшер? Убил!.. — затряслась, закричала Верочка, замахнувшись на Зыкова маленьким кулачком, и не смела ударить его. — Разбойник!.. Изверг!.. Злодей!..

— Ну, ладно, — смутился Зыков и попятился. — Злодей ли я, узнаешь после, как вырастешь.

Труба за окном все еще сзывала. Многих не досчитывались. Не было Гараськи, не было Ваньки Птахи. Ванька давно перестал хрипеть, и песня его больше не всплеснется.

Настя долго поджидала Гараську: вот за своим добром пожалует. Но парень не шел, рыженькая сучка вылизала все мозги его в снегу.

А где ж палач Наперсток? И Наперстка нет. Всяк получил свою судьбу, никто не уйдет от своей судьбы, каждому данной изначально.

Таня открыла глаза и по-новому удивленно уставилась на Зыкова:

— Зыков, ты?

— Я, — сказал он. Глаза его были горячи и властны. — Поправишься, приедешь ко мне. Сама приедешь! Никогда не забудешь теперь Зыкова, и я тебя не забуду. Прощай! — он ковал слова, как огнем палил.

— Ваня... Ваня... песню... — застонала, заметалась девушка.

А Зыков говорил ее матери тихо, по-иному:

— Всамделе... Ежели плохо будет, приезжайте. Защиту дам.

Когда он вышел, яркое было солнце. Рожечники, пикульщики, знаменщики сияли в золоте и серебре. Двадцать бабьих рук всю ночь шили из парчевых церковных облачений штаны и камзолы. И вот все блестит и пламенеет. На широких штанах, на сиденьях, на спинах — кресты и серафимы.

Барабанщик и знаменщик в золотых митрах, кто в скуфье, кто в камилавке. Несколько кадильниц курились дымком. Передние держали в руках престольные кресты и серебряные чаши для причастья. Кричали непроспавшимися голосами:

— А мы не боги, что ли!

Но когда показался Зыков, партизанская ватага заорала во всю глотку ура и три сотни шапок высоко прошили воздух.

— Ну, ребята! — загремел Зыков с коня. — Худо ли, хорошо ли, а дело сделано. Кто был повинен перед простым людом, тот брошен псам. А остальное... — он горько махнул рукой.

И никто не догадывался, что делалось у Зыкова в душе: горючий стыд и злоба бичевали душу. Кровь, всюду кровь и разрушение. Глаза его были красны до крови, глаза были в едучих, проклятых слезах.

Он погрозил нагайкой несчастной толпе горожан, крикнул:

— А вы — сидеть смирно! Красные идут. Красным служить верно.

Он выехал вперед и крикнул:

— Трога-ай!..

Коняги, кони, кобыленки засеменили ногами. И опять воздух содрогнулся от неистового стоны рожков, пиканья пикулек, рева труб, грохота барабанов.

В хвосты, в бока вытянувшейся чрез городишко тысяченогой гусеницы полетели камни, палки, комья льда. Это, взвизгивая, свирепствовали ребяташки.

И голоса мужчин и женщин прорывались то здесь, то там:

— Церкви!.. Христопродавец... Тать кровожадная!.. Чтоб те... Церкви сжег...

— Смерть Зыкову!

— Молодец Зыков!.. Так и надо.

И на самом краю, когда хвост отряда спустился на реку, с чердака колченогого домишки шарахнул выстрел. Крайний всадник кувырнулся с коня в снег.

Быстро отделились пятеро, и через минуту растерзанный стрелец-мальчишка был сброшен с чердака.

Зыков сказал ехавшему с ним рядом Срамных:

— Дьявол ты!.. За кой прах показал мне ту девчонку.

— Шибко поглянулась?

Зыков молчал. Он был мрачен, глаза пустынные, холодны.

— Ежели поглянулась, брал бы... Жена не сдогадается. В горах места много. Все равно достанется кому-нибудь. Девочек дурак жалеет.

Зыков молчал.

— А пошто ты так круто повернул? Надо бы какой ни на есть порядок завести.

Зыков сказал сквозь усы:

— Много мы набедокурили. На душе чего-то тяжко. Эх, что же я!.. — И он зашарил глазами по рядам.

— Курица! — крикнул он рыжеусому, краснорожему в николаевской черной шинели с бобровым воротником: — Живо кати в город и прикажи моим строгим приказом: Соборную площадь окрестить площадью Зыкова. Исполнить в точности. Дощечки перекрасить... Площадь Зыкова!.. Окончательно запомятовал... Понял?

Не замечая сам того, Зыков очутился совсем один и одинокий в хвосте отряда. Ехал, низко опустив голову: может быть, спал, может, огрузла голова его от укорных дум.

Ночевать расположились на ровном берегу реки. Летом было здесь цветистое густое большетравье, теперь поляна вся в стогах. Освещенные вечерними кострами высокие стога и весь партизанский табор казались стойбищем кочевников. Каких тут не было одежд! Сукно, шуршащий шелк, парча, плис, бархат всех оттенков пестро и ярко расцветили шумливые группы партизан. Похрапывали, ржали кони, из лесу, с гиком и песнями, весело волокли рухнувший на землю сухостой. Какой-то бездельник горланил песню и пиликал на гармошке. Лесная тишь заголосила.

— Смолья волоки! Смолья-а-а!..

У котлов кромсалось мясо и баранина. Толстобрюхий бардадым, поправив налезавшую на глаза митру, с ожесточением вырывал из себя требуху. Кольша по-озорному стащил с него митру:

— Дос-свиданица, анхирей Петрович! — и с хохотом, козлом помчался по сугробам.

Бардадым ахнул, бросил гуся и нескладной копной покултыхал вдогонку:

— Отдай, варнак! Отдай! Душу вышибу!

Искры птицами летели во все стороны. Вот вспыхнул стог и запластал, пламя взмыло вверх и сдержанно глухо рокотало. Яркий свет волнами заплясал над табором, а мрак кругом враз стал густым, лохматым по краям, как копоть. Лениво и задумчиво плыл сизобагровый дым.

Ели жирно, до отвалу, солили круто, перцу во щи не жалели. Кольша жрал варенье из кадушки горстью — ох, вкусно до чего! — и вся харя его была, как после мордобоя.

Во сне, на ядреном морозе, подняли храп и трескотню, как в барабаны, ругались, бредили, а то вдруг хлестнет поляну поросычий сонный визг. Часовые у костров громыхают в ответ ядреным смехом.

— Ух, язви! Это бардадым, должно, вырабатывают... Вот так, паря, голосок...

Под утро, когда особенно ярки были звезды, и не погасли еще костры, прискакали из города два всадника.

Они отвели Зыкова в сторону и рассказали, что творится у него дома: там много кержаков с мужиками покинуло его стан, пусть Зыков спешит домой, будет медлить, все кержаки уйдут.

— Эх, Наперстка нет, — хрипло, весь позеленев, сказал Зыков. Он долго взад-вперед ходил возле костра и кусал усы. Потом разбудил рыжего и в страшном волнении зашептал: — Срамных... Очухался?.. Вот что, Срамных. Ты, дьявол окаянный, раздражил мое сердце. Чуешь? Половина силы у меня вытекла. А ну-ка, сквитаемся давай!

Срамных испуганно тряс рыжей головой, весь дрожал от внезапно охватившей его жути. Глаза юлили и боялись бешеных глаз Зыкова. Это не Зыков... Это чорт. Глаза горят зеленым огнем, рот то открывается, то закрывается, борода, как сажа, и в правой ручище безмен.

— Батюшка, Зыков! Степан Варфоломеич...

Но Зыков не взмахнул безменом, а страшно и твердо, как по железу пилой, сказал:

— Седлай коня. Дуй во все лопатки. К нам. Делай, что прикажу сейчас.

Всю ночь до рассвета он ходил между костров, считал звезды, читал по звездам свою судьбу, но что будет впереди — не знал, все тонуло впереди в зыбком мраке.

Всю ночь до рассвета не спали и в доме Перепреева, а с рассветом весь городок, все погорелое место точило слезы, слез было много: дым вертел, выедал глаза и разбойные звуки еще не умерли в ушах.

Много было мертвецов и горького над ними плача, но отпевать их некому.

Настя счастлива, беспечальна. Она с благодарностью вспоминает, Господи прости, ту первую ночь, троих мужиков и ненасытного Гараську. Настя благочестива. Надо бы каяться, но попы убиты, церкви спалены. Настя смотрит на икону, крестится, вздыхает, надо бы удариться в покаянные слезы, но где их взять, если стол и все лавки ломаются от награбленного Гараськой добра. Ежели сложил свою голову Гараська, вечный ему покой, ежели жив Гараська, может и вспомнит ее и вернется. Эх, парень, парень! До чего усладительно, Господи прости, вспоминать его.

Из Перепреевского дома караульный в двух тулупах и Шитиковские приказчики волокли труп Ваньки Птахи. Кухарка мыла с дресвой кровавый пол. Пришел столяр, сторговался за починку двери.

Десяток оставшихся солдат и горожане рыли на погосте общую могилу и складывали туда мертвецов.

Дела было всем много. Мороз сломился, хлопьями валил пушистый снег.

Сквозь снег серела виселица, и как виселицы — четыре обгорелых колокольни. Черные стояли обгорелые дома, и до тла сгоревшие развеялись по земле черным прахом. Черные печи грозили небу, как перстом, черными трубами.

В черных мыслях ехал Зыков на черном, как чорт, коне. Но отряд его подвигался весело.

Опять разбрелись по горным тропинкам, кто где. Едут вольно, не торопясь, лишь бы к ночи собраться на условленное место.

Вот приедут на заимку, в стан, Зыков, поди, даст отпуск. Добра везут много. Эх, скорей бы по домам, захватить покрепче золото да серебро. Погуляно, повоевано довольно!

Настины мужики вспоминают Настю. Ну, баба... Кубышка, а не баба. Эх, Гараську, дурака, жаль. Ужо Груняха-то... Эх!..

Серебряные церковные сосуды камнями сбивают у костров в комки. А вот там смазал один другому по зубам, там в драке сцепились четверо, не могут поделить.

А лес зеленый, темный, хлопьями валит снег, и зверючьи тропинки исчезают.

Ночь, снег. Таня подошла к окну, к балкону, к тому самому... Таня приникла печальным и милым, как сказка, лицом к стеклу. За стеклом все то же — ночь и снег. И нет ярких костров — темно — нет криков и песни, нет чугунного всадника. Навсегда умчался сказочный всадник в новую страшную сказку, в быть.

Печальная, милая девушка из печальной русской сказки — оторвалась от сказки —



оглянулась. Кто-то звал ее, кто-то плакал. Но она замкнулась в самой себе и ничей голос до ее сердца не доходит. Она вся горит, большие, серые глаза ее в мечте и бесконечной тревоге, и сердце ее дважды раздавлено, дважды осиротело. Что-то будет с ней завтра, послезавтра, на третий день?..

На третий день к вечеру под'ехал к Зыковской заимке первый партизан, а в ночь — и остальные.

На заимке и в лесу народу много, но костры горят невесело, и все песни смолкли.

Еще вчера, ранним — чуть зорька — утром откуда-то взялся Срамных, он поднял бучу, разбудил всех нехорошим голосом:

— Что ж вы, барсуки, дрыхнете! Ведь ваш старец Варфоломей приказал долго жить.

Срамных побежал будить и хозяйку, Анну Иннокентьевну. Впрочем, та уже бодрствовала: сотворив короткую молитву, принялась творить квашню с хлебами.

— Вошел я от сынка, от Степана, поклон отдать, — заговорил Срамных, пряча глаза. — Чиркнул серянку, гляжу — старичек в гробу лежит, в колодине. Я окликнул: — дедушка! — лежит. Я погромче, я на колени припал к нему: ни вздыху, ни послушанья. Меня ажно откачнуло от него, как ветром. И лик у него темный, нехороший лик.

Хоронить старца Варфоломея собралось много кержаков. Шарились по лесу, в ущельях, искали Срамных, нигде не могли найти: куда-то удрал, неверный.

Из дальних заимок приехал парень. Он сообщил, что деда Семиона вчера нашли убитым в лесу.

— Ну?.. Старца Семиона? Зарезали?!

— Да, да... Голова напрочь...

Поджидали Зыкова, но он не появлялся. Вахмистр царской службы, которому он поручил команду, сказал, что сам Зыков свернул к Мулале-селу.

После похорон старца Варфоломея большинство кержаков навсегда разбрелось по своим заимкам. Остались лишь преданные Зыкову, спаянные с ним кровью. Но все-таки отряд его рос и множился: по всем зверючьим, пешим, конным тропам стекались сюда дезертиры из белого стана, рабочие с рудников, лесорубы, гольтепа, маленькие — в пять-шесть человек — партизанские отряды, бродяги, каторжане, сколько-то киргиз и калмыков-теленгитов, даже расстрига-дьякон с двумя спившимися с кругу семинарами.

Стекались все, кто знал о Зыкове, кто до конца возненавидел белых. Одних гнало сюда шкурничество, трусость. Других — геройство: борьба за угнетенный, раздавленный колчаковщиной сибирский вольный свободолубивый народ — это молодежь. Третьих — грабежи, легкая нажива, кровь, — это забулдыги, жулики, разбойники.

Но почти все негласно объединились на одном: из прутьев вяжи веник, силу сгруживай в кулак.

И все покрывала темная заповедь, дочь мятежной бури: убивай, не то тебя убьют.

Надо было все наладить, всем дать работу. Где же хозяин?

Зыков, правда, свернул к Мулале-селу, но внезапно свой путь прервал. Эх, не глядеть бы на белый свет, — и ночью постучал у ворот глухой заимки своего закадычного друга Терехи Толстолобова.

— А-а дружок, Степанушка! Каким это бураном, какой пургой?

Тереха Толстолобов мужик крепкий, медвежатник. Он русский крестьянин, сверстник Зыкову, не кержак, веры православной, поповской, имел двадцать две коровы, восемь лошадей, пять собак и двух жен — старую и молодую. Старую ругал и бил, молодую, Степаниду, ласкал, дарил дарами. Но всегда после ухода Зыкова молодой жене доставалась от Терехи трепка.

— Медведей-то добываешь?

— А кляп ли на них смотреть? Ныне четверых свалил. Медвеженка взял живьем. Не хошь ли полюбопытствовать? В бане он.

— А белых бьешь? Чехов да полячишек?

— Этим не занимаюсь. Они мне не душевредны. Кто меня в такой дыре найдет?

Заимка его, верно, в непролазных горах — горы, как крепость, — в густом лесу, и дорога к нему — недоступные путаные тропы диких маралов, горных козлов, медведей. Да еще Зыковский черный конь умел лазить по горам.

Зыков не в духе:

— Это, Толстолобов, не дело говоришь. А для миру нешто не хочешь поработать?

— Нет. Тьфу мне мир!..

... И тут уж не до сна.

С хозяйской широкой перины вскочила Степанида. Она в розовой короткой рубаше.

— Здорово, Степан Варфоломеич!.. — и белыми ногами по медвежьим шкурам промелькнула мимо гостя, прикрывая рукой колыхавшуюся грудь.

Зыков даже не взглянул. Он сидел за столом угрюмо. Слышно было, как за занавеской проворные руки Степаниды наливали самовар.

— Винца бы... — сказал Зыков. — Чаю не желательно.

— Винца?! — удивленно переспросил хозяин и похлопал гостя по плечу. — Давно ли ты это? Ха-ха-ха...

— Недавно, брат.

Тереха Толстолобов с опаской и недоумением заглянул ему в глаза:

— Да что это с тобой стряслось? А?

Степанида без памяти любила Зыкова, он же никакой любви к ней не чувствовал. Степанида в прошлом году пыталась удавиться.

И вот теперь она вдруг поняла, угадала, чем занедужил Зыков:

— Ой, чтой-то с тобой и взаправду стряслось, Степан Варфоломеич?

Тот ответил не сразу. Рот его кривился, брови подергивались.

— Так, пустяковина, — сказал он. — На душе чего-то не тово, на сердце.

В глубокой предутренней ночи все трое были пьяны.

Тереха повалился на постель и крепко, под грудь, облапил Степаниду двумя руками в замок, как в цепь. Зыков лежал в углу на медвежьих шкурах, глядел в потолок, вздыхал и тряс головой.

Лишь захрапел Тереха, Степанида, как нельма, выскользнула из пьяных клещей и подползла во тьме на коленках к Зыкову:

— Уйди, Степашка, — сказал он. — Не до тебя.

Она целовала его глаза, щеки, искала губы и пьяно твердила, навалившись грудью на его грудь:

— Господи Христе, грех-то какой, грех-то... Степанушка...

Зыков отбросил ее. Она уползла прочь, к мужу, сидела скорчившись, сморкалась в розовую

рубаху, плакала. Тереха храпел.

Пели петухи. В сенцах шарашилась сорокалетняя забитая Лукерья. Она жила в другой половине, с двумя рябыми дочками, девками. Робко взошла, стала затапливать печь.

Утром была готова баня. Зыков взял четверть вина и ушел париться. Баня была просторная с предбанником — Тереха Толстолобов любил пожить.

В предбаннике большой медвеженок на цепи. Он сидел на лавке по-собачьи же чесал задней лапой ухо. Заурчал, соскочил и забился под лавку. Зеленым поблескивали из-под лавки сердитые таежные его глаза. Зыков обрадовался, улыбнулся:

— Мишка! — он вытащил его из-под лавки, медвеженок больно ударил его лапой, плюнул, как кот, и оскалил зубы. Зыков снял с него цепь. Медвеженок весь оцетинился, опять юркнул под лавку. Зыков дал ему кусок хлеба, медвеженок отвернул морду, весь дрожал. Зыков смочил хлеб вином, зверь понюхал и с'ел.

Зыков разделся, взял веник, винтовку, безмен, пистолет, кинжал и вошел внутрь. Хвостался веником немилосердно, выходил валяться в снегу, опять хвостался, но сердце не утихало.

Пил.

Медвеженок лизал его широкие, болонастые ступни, просил вина. Пустой хлеб не жрал, с вином уплетал жадно, рывкал, крутил мордой и чихал, глаза улыбочиво блестели, как желтые пуговицы под солнцем.

— Эх, звереньш ты мой, звереньш... Милый мой... Хохочешь, поди, над Зыковым, над дураком бородатым? Хохочи, брат... Я сам хохочу... Оба мы с тобой звери одинаковые...

Так прошло три дня, три ночи.

Голубыми лунными ночами под окном стоял кто-то живой, вздыхал, просительно стучал в морозное стекло.

И каждый раз хрипло раздавалось на всю баню:

— Степашка, уходи!

Зыкову не до Степаниды. Он неотрывно думал о белом доме в городке, о сероглазой девушке, каких больше нет на свете.

И когда он пристально думал так, уперев воспаленный неверный взгляд в темный угол, вдруг в углу вставала Таня. Тогда медвеженок, оцетинившись, быстро полз под лавку.

— Зыков, миленький!..

И в этот самый миг, там, в потухшем городке, возле теплой девичьей кровати, заслоня головой огонек лампадки и весь мир, — вырос из полумрака Зыков:

— Танюха, голубица...

— Ах, зачем ты, мучитель, пришел ко мне?

— Я с ума схожу. Я как живую вижу тебя. Ой, девка...

— Тогда убей, как отца убил...

Тут заскрипела с хрустальной ручкой дверь, вошла в Танину спальню мать, медвеженок рывкнул, Зыков тряпичной рукой схватился за тряпичное сердце и тяжело застонал.

На четвертый день, рано поутру, он вышел из бани вновь бодрый, крепкий.

Наскоро поел капусты с луком, напился квасу и заседлал коня. Глаза его блестели решимостью.

— Прощай, Тереша, — сказал он. — В случае, спасаться к тебе приду. Не выдашь?

— Еще бы те. Ха! Да лучше пускай башку с моих плеч снимут.

— Слушай, Тереша, дело к тебе. Ежели у тебя одну, вроде монашку, можно приютить?

— Об этом сомневаться тебе не приходится. Привози, — и Тереха подмигнул.

Зыков погрозил с коня пальцем и поехал.

Тереха кряду же дал Степаниде трепку. Она бегала вокруг стола, вскакивала на лавки,

кричала:

— Хошь печенки из меня все вымотай, да изрежь — люблю Зыкова! люблю, люблю, люблю, люблю, корявый чорт! — Чрез разодранную в клочья кофточку круглились голая грудь ее и плечи.

— Поплевывает он на тебя!

Зыков меж тем вернулся домой. Кержацкий медный крест над воротами позеленел от ржавчины. И вся заимка показалась Зыкову чужой.

Могила его отца уже покрыта была сугробом. Он на могилу не пошел, и со своей женой был жесток и груб.

Срамных боялся, что Зыков под горячую руку убьет его, и действительно куда-то скрылся.

Зыков наводил порядок один. Он не слезал с коня, всюду поспевал, об'езжал заимки, звал кержаков и крестьян обратно, грозил чехо-словаками, мадьярами, белыми, красными, грозил красным петухом. Кой-кто из молодежи снова потянулись к нему, но средняки крепко забились в свои норы: слова старца Варфоломея и внезапная смерть его сделали свое дело.

Народ в отряде был теперь наполовину новый, пестрый по думам и по мозолям на душе. Нужны были крутые меры или разгульные набеги, иначе все превратится в грязь.

Мысли Зыкова качались, как весы; то подавленные, угнетенные, то не в меру бурные, бешеные, как с гор вода.

Или вдруг взвизжит мечта; бросить все и тайком умчаться в город, упасть на колени перед купецкой дочкой, вымолить прощенье и...

Как-то ночью, тайком, взошел в моленную, зажег свечу у образа Спасителя, подошел к другому образу, зажег. В этот миг первая свеча погасла, он снова зажег ее, погасла вторая. Зажег. Угасли обе — и сразу тьма.

Зыков смутился, руки с огнивом и кремнем задрожали. В моленной плавал, дробясь и прерываясь, тихий-тихий перезвон колоколов, кто-то стонет, умоляет о пощаде, чьи-то хрустят кости, и два голоса еле слышно заливаются во тьме, Зыкова и Ваньки Птахи: «... ает зелен виноград, коренья бросает ко мне на кровать»... И еще девий голос: «Зыков, Зыков, миленький»...

— Кха! — грозно и уверенно кашлянул Зыков. По моленной пошли гулы, все смолкло, раскатилось, захохотало, загайкало, вновь смолкло.

Плечи, грудь, сердце Зыкова опять стали, как чугун.

Он живо высек огонь, шагнул к закапанному воском подсвечнику. Свет неокрепшего огня резко колыхнулся, лег, словно кто дунул на него. У подсвечника стоял белый старик. Зыков вдруг отпрянул, упал на одно колено, вскочил и, вытянув вперед руки, не помня себя, бросился к выходу.

Дверь настезь. В моленной крутили вихри. И вслед беглецу, сквозь мрак, черное, пугающее, как мрак, неслось:

— Христопродавец... Богоотступник... Проклинаю...

— Отец, отец... — весь содрогаясь, хрипел выбежавший во вьюжную ночь Зыков. Волосы его шевелились, плечи сводило назад, живот и грудь сразу стали пустыми, обледенелыми.

Ночь была вьюжная, беззвездная. Гудели сосны, вихристый, взлохмаченный ветер выл и плакал, и нигде не видно сторожевых огней.

Зыков слег.

В бреду вскакивал с постели, кричал, чтоб горнист играл сбор: красные соединились с белыми, идут сюда, брат Зыкова. Иннокентьевна сбилась с ног: натирала мужа редечным соком, накидывала на голову древний плат от древнего Спасова образа.

В дом входили партизаны, шопотом разговаривали с Иннокентьевной, качали головами,

уходили, совещались у костров, как бы не умер Зыков, что делать тогда, куда идти?

На четвертый день Зыков оправился. Он запер на замок моленную, ключ положил в карман и вечером, пред закатом солнца, пошел на погост, постоял в раздумьи, без шапки, над могилой отца. Молиться не хотелось, могила казалась чужой, враждебной.

Солнце светило по-весеннему, снег слепил глаза, Зыков щурился, косясь на черные кресты погоста.

И, проезжая среди полуразрушенных улиц, дядя Тани, Афанасий Николаевич Перепреев тоже косился на черные кресты обгорелых церквей и колоколен.

При встрече плакали радостно, жутко, сиротливо. Всем семейством ходили на кладбище, молились могиле под широким деревянным крестом с врезанной в середку иконой Николая Чудотворца. Отец Петр служил панихиду. Неутешней всех была мать Тани: подкосились ноги, упала в снег.

Афанасий Николаевич сказал:

— Стратотерпец.

— Вот именно, — подхватил отец Петр. — Иже во святых, надо полагать.

Таня утирала слезы белой муфтой. Верочка, закусив губы, смотрела в сторону, мускулы бледного ее лица дрожали.

Сорока с хохотом перелетела с березы на березу, синим, с блестками, дождем сыпался с сучьев снег.

— Все бегут на восток, — говорит дядя. — Войска, и за войсками — обыватели: торговцы, купечество, чиновники, ну, словом — буржуи, как теперь по-новому, и всякий люд. А что творится в вагонах? Боже мой, Боже! Человек тут уж не человек. Звереет. Только себя знает. Вот, допустим, я. Человек я не злой, богобоязненный, а даже радовался, когда за окошко больных бросали. Ух ты, Боже! Вот закроешь глаза, вспомнишь, так и закачаешься. Видишь, поседел как.

Афанасий Николаевич походил на Танина отца. Она шла с ним под руку, ласково прижималась к нему.

— А вам всем надо утекать, — говорил дядя. — А то придут красные — по головке не погладят вас.

Они были уже дома, раздевались.

— Куда ж бежать? — спросила Верочка.

— В Монголию. Выберемся на Чуйский тракт, а там чрез Кош-Агач, в Кобдо, в Улясутай.

— Дорогой убьют, — сказала мать.

В глазах Тани промелькнули огонь и дрожь.

— Мы поедem к Зыкову — восторженно проговорила она — Зыков даст нам охрану.

— Полно! — вскричала мать. — Опять Зыков? Постыдись...

— Да, да, Зыков! — выкрикивала Таня, и все лицо ее было, как пожар. — Зыков спаситель наш.

— Что ты говоришь! — вскипела мать. — Несчастливая дрянь! Дядю-то постыдись родного... Спаситель...

Таня тяжело задышала, села на диван, опять поднялась, перекинула на грудь косы, нервно затеребила их:

— Мамаша! Я люблю Зыкова! Люблю, люблю... К нему уеду... Вот!

Мать и в ярь и в слезы, мать пискливо кричала, топала каблуками в пол.

Таня заткнула уши, мотала головой и, потеряв над собой волю, твердила:

— Люблю, люблю, люблю...

— Ах ты, проклятая девченка! — и мать звонкую влепила ей пощечину, и вторую, и

третью. — На! На, паршивка! На!

Дядя растерянно стоял, разинув рот.

— Вот, полюбуйся на племянницу! — пронзительно закричала мать. — Вот какие нынче девки-то! — и, застонав, побежала грузно и неловко в спальню.

А подросток Верочка плевала на сестру, подносила к ее носу сухие кулачки:

— Разбойницей хочешь быть? Атаманшей?! Тьфу!

Вволю наплакавшись, Таня пошла на обрыв реки и долго глядела на скалистые, покрытые лесом берега, в ту сторону, куда скрылся черный всадник. Хоть бы еще разок увидеть его. Зыков, Зыков! Но напрасно она в тоске ломала руки: черному всаднику заказан сюда путь.

Черный всадник собирается в глубь Алтайских гор. Там, в монастыре, за белыми стенами, крепко сидели белые — пыль, шлак, отбросы — последний на Алтае Колчаковский пошатнувшийся оплот. Они будут уничтожены, раздавлены, как клопы в щели: Зыков идет.

Таня видит его, Таня торопит родных от'ездом.

Перепреевы спешно распродали, раздали мебель, посуду, а сундук с ценными вещами закопали ночью в саду — Афанасий Николаевич до поту работал две ночи.

Ночью же, когда небо было темно от туч, за ними приехал из деревни приятель; они перерядились во все мужичье и, как мужики, выехали с мужиком из города.

Они ехали «по веревочке», от верного человека к верному человеку, у бывших покупателей своих, дружков, загацивались по неделе.

На другой день их от'езда городок был занят красными. В весенних солнечных днях, на высоких струганых флагштоках, крепко, деловито, заалел кумач. Власть тотчас же окунулась в дело, в жизнь. Но все было разбито, разграблено, сожжено, жителям грозил неминуемый голод.

А ну-ка! Кто хозяйничал?..

— Товарищ Васильев, приведите сюда того... как его... партизана, — распорядился начальник красного передового отряда Блохин.

Он был коренастый, черноусый, небольшого роста молодой человек, лицо сухое, нервное, утомленное, в прищуренных глазах настороженность и недоверие. Американская новая кожаная куртка, за желтым ремнем револьвер, американские желтые, с гетрами, штиблеты.

Ввели партизана. До полусмерти изувеченный, он две недели просидел в тюрьме. Левый глаз его выбит, голова обмотана грязной тряпкой. Торчат рыжие усы.

За столом, рядом с Блохиным, пятеро молодежи и один бородач, все в зимних шапках, с ушами. Семь винтовок, дулом вперед, лежат на столе. Чернильница, бумага. Тот самый зал, где был последний митинг. На знамени вышито: «Вся власть Советам». В зеленых хвоях портреты Ленина и Троцкого. Входят с докладами и выходят красноармейцы. Двое с винтовками у дверей.

— Ваша фамилия, товарищ? — начинает Блохин допрос, обмакнув перо.

— Курицын Василий, по прозвищу Курица, извините, ваша честь, — поправляя грязную тряпицу на глазу, вяло ответил партизан.

— Вы из отряда Зыкова?

— Так точно. Из Зыковского, правильно. Из его шайки.

— Какая была цель вашего прихода в город?

Курица хлопает правым глазом, трет ладонью усы и говорит:

— Порядок наводить.

— И что же, товарищ, по вашему? Вы порядок навели?

— Так точно.

Блохин, улыбаясь, переглянулся с улыбнувшимися товарищами, а Курица сказал:

— Ваше благородие. Я дубом не могу, в стоячку. Я лучше сяду... Дюже заслаб. Голодом морили меня, не жравши. Вот они какие варнаки, здешние жители. Избили всего... почему зря. Терплю... А все чрез Зыкова... — он чвыкнул носом и, как слепой, пощупав руками стул, сел.

Бородач подошел к партизану, отвернул полу барнаульского полушубка, сунул ему бутылку водки и кусок хлеба:

— Подкрепись.

Курица забулькал из горлышка, крякнул и стал чавкать, давясь хлебом, как голодный пес. Лицо его сразу повеселело.

— Почему ваш отряд разрушил крепость, сжег имущество республики, склады, монополию, дома граждан? Товарищ Курица, я вас спрашиваю.

— Чего-с?

Блохин повторил.

— А по приказу Зыкова, — привстал, почесался и опять сел Курица. — Он, проклятый Зыков, чтоб его чрез сапог в пятку язвило. Бей, говорит, в мою голову — я ответчик. Эвот я какой одежины через него мог лишиться: господска шуба с бобрячьим воротником. Вернул меня, Зыковскую площадь велел назвать... Вот я и назвал. Едва не уколошили. Очухался, гляжу — в тюрьме. А я уж думал, что померши. Вот как... хы!.. И глаз вышибли... — голос его стал веселым.

— Где вы взяли шубу, товарищ?

— А так что нам Зыков дал.

— А вы кто? Чем занимались?

— То есть я? Мы займовались, известно дело, хрестьянством. Всю жизнь на земле сидим.

Из самой я из бедноты, можно сказать, дрянь мужик, самый бедный, из села Сростков... Поди, слышали? Село наше возле, значит...

— А ведь ты, Курица, с каторги сбежал, из Александровской каторжной тюрьмы. Ты лжец! — и глаза Блохина из узеньких вдруг превратились в большие и колючие.

Курица завозился на стуле:

— Кто, я? Кто тебе сказал?

— Твой товарищ. Тоже партизан.

Курица вдруг ошалел. Вытаращенный глаз его завертелся, и все завертелось пред его взглядом: стол, комната, винтовки, серьезные вытянутые лица красноармейцев, а чернильница подскакивала и опять шлепалась на место.

— Какой такой товарищ? Врет! Как кликать, кто?

— Это тебя не касается, — рубил Блохин, пристукивая торцом карандаша в столешницу. — Откуда у тебя взялись часы, трое золотых часов, тоже Зыков подарил?

— Не было у меня часов.

— Гражданин Стукачев! — крикнул Блохин. — Позовите гражданина Стукачева.

Тощий, как жердь, портной вошел, хрипло кашляя. Скопческое лицо его позеленело, сухие губы сердито жевали, поблескивали темные очки:

— Я его, подлеца, от смерти спас... А понапрасну, не надо бы их, злодеев, жалеть. Часы, вот они... В штанах нашли у разбойника.

— Засохни, кляуза! — крикнул Курица и закачал с угрозой шершавым кулаком: — Вот Зыков придет, он те... Да и прочих которых не помилует, всех под лед спустит... хы! Начальнички тоже...

— Молчать! — прозвенело от стола.

Опрашивались еще свидетели, вместе с отцом Петром Троицким.

Дыхание отца Петра короткое, речь путаная, сладкая, священник волновался. Он красную власть почитает, он всегда был сторонник силы и справедливости, так как лозунги Советской власти, поскольку ему известно из газет и отрывочных слухов, всецело совпадают с заветами Евангелия. К белым же он был совершенно равнодушен: ибо полное их неумение властвовать и воплощать в себе государственную силу привели к такому трагическому состоянию богохранимый град сей. А Зыков, что же про него сказать? Сектант, бывший острожник, изувер, человек жестокий, властный, якобы одержимый идеей восстановить на Руси древнее благочестие. Но отец Петр этому не верит, ибо дела сего отщепенца не изобличают в нем религиозного фанатика. Напротив, в нем нечто от Пугачева. И ежели глубоко уважаемые товарищи изволят припомнить творение величайшего нашего поэта Александра Пушкина...

— Ну, положим... — иронически протянул Блохин и прищурился на покрасневшего попика.

— Совершенно верно, совершенно верно! — поспешно воскликнул попик. — Я не про то... Я, так сказать, с исторической точки зрения... Конечно же, Пушкин дворянских кровей и в наши дни был бы абсолютным белогвардейцем. И, конечно, понес бы заслуженную кару... Яснее ясного.

Блохин, нагнувшись, писал. Красноармейцы зверски дымили махрой. За окнами уже серел вечер и чирикали воробьи. Курица икал, прикрывая ладонью рот, глаз его сонно слипался, подремывал.

— Гражданин Троицкий и вы, граждане, можете итти домой.

Подобострастный поклон отца Петра, торопливые шаги нескольких ног, независимые удары палкой в пол уходящего портного.

— Гражданин Курицын...



Одинокий партизан еле поднял плененную сном голову и вытянул шею. Блохин что-то читал, голос его гудел в опустевшей зале. И когда с треском разорвалось:

— Расстрелять!

Курица крикнул:

— Кого? Меня?! — голова его быстро втянулась в плечи опять выпрыгнула, и он повалился на колени. — Братцы, голубчики!.. Начальнички миленькие... — тряпка сползла с головы, глазная впадина безобразно зияла.

— Но, принимая во внимание...

Курица хныкал и слюнявил пол, подшитые валенки его, густо окрашенные человеческой кровью, задниками глядели в потолок. Когда его подняли и подвели к столу, он утирал кулаком слезы и от сильной дрожи корчился.

— Курица и есть, — сказал бородач. — А еще водкой его угостил...

Курице сунули в руки запечатанный конверт, что-то приказывали, грозили под самым носом пальцем. Весь изогнувшийся, привставший Блохин тряс револьвером, кричал:

— Понял?!.

— Понял... Так-так... Так-так... — такал Курица, ничего не видя, ничего не понимая.

Его увела стража.

— Приведите этого... как его... Товарищ Васильев! Приведите другого Зыковского партизана.

В комнату, в раскорячку и сопя, ввалился безобразный человек.

Блохин исподлобья взглянул на него, брезгливо сморщился и звеняще крикнул:

— Имя!

Отец же Петр, кушая с квасом толокно, говорил жене:

— Пока что, обращенье вежливое... Надо, в порядке дисциплины, предложить свой труд по гражданской части. Интеллигенции совсем не стало, — и громыхнул басом на Васю, сынишку своего: — Жри, сукин сын! Жулик...

Вася, худой, как лисенок, давится слезами, тычет ложкой в миску, давится толокном, чрез силу ест. После горячей порки ему очень больно сидеть.

Вот весной Вася угонит чью-нибудь лодку, уедет к Зыкову. Отца он ненавидит и на мать смотрит с презреньем: с толстогубым партизаном эстолько времени валандалась. Толстогубый парень, как спускался с лестницы, подарил Васе будильник и еще бронзовую собачку, очень красивенькую: «На, кутейничек. Я на твоей мамке вроде оженившись». Так и сказал парень, ноздри у парня кверху, и глаза, как у кота, Вася это хорошо запомнил. Вася совсем даже не жулик, раз подарили... А к Зыкову он уедет обязательно. Зыков по лесам рыщет, а в лесах медведи, черти, лешие... Вот бы сделаться разбойником. Ну, и занятная книжка — Разбойник Чуркин. Книжку эту и другие разные сказки он добывал у Тани Перепреевой. Вася очень любит сказки.

Любит сказки про богатырей и купеческая дочка Таня. Ха, быть любушкой богатыря, ходить в жемчугах, в парчах, спать в шатрах ковровых среди лесов, среди полей, будить рано поутру своего дружка заветного сладким поцелуем.

И от страшной кровавой были Таня Перепреева, большеглазая монашка, едет в голубую неведомую сказку, чрез седой туман, чрез белые сугробы, чрез свое девичье сказочное сердце... «Зыков, Зыков, миленький».

Зыков, сам сказка, весь из чугуна и воли, с дружиной торопится в поход. Но вот задержка: надо отправить жену, Анну Иннокентьевну, в дальнюю заимку, здесь опасно, да и с глаз долой... Анна Иннокентьевна плачет. Как она расстанется с ним? Но пять возов уже нагружены добром, и ямщики откармливают коней.

— Знаю... С девченкой снюхался... Эх, ты! — корит его Анна Иннокентьевна.

Зыков топает в пол, стены трясутся, Иннокентьевна вздрагивает и под свирепым взглядом немеет.

А по гладкой речной дороге едут всадники: Курица и два красноармейца. Они нагоняют подводу. В кошеве мужик, баба и два парня. Один глазастый и такой писаный, ну, прямо — патрет. Только ничего не говорит, немой... рукой маячит, а сам в воротник нос утыкает, будто прячется.

— Путем дорогой! — кричит Курица, он норовит завести разговор, но красноармейцы подгоняют.

Едут вперед и долго оглядываются на отставшую кошевку.

— ... Здорово, Зыков!... Вот бумага тебе от начальника...

Курица потряс конвертом, голос его был с злорадным холодком.

В горнице пусто, как в обокраденном амбаре. Хозяйки нет. За пустым столом, среди голых стен, сидели четверо.

— Начальник тебя в город требует... Немедля... Теперича, брат, новая власть, а ты так себе... — говорит Курица, часто взмигивая глазом.

Красноармеец сказал:

— Нам желательно выяснить вашу плацформу, товарищ Зыков. Кто вы, большевик или не большевик?.. Вашу тактику?.. Начальство желает...

У Зыкова грудь, как наковальня, и руки, как сваи. Он молча вскрыл конверт и близко поднес к глазам бумагу. Два раза перечел, потом неторопясь, разорвал ее на двое: — Что ты делаешь! Зыков! — разорвал вдребезги и бросил на пол:

— Писал писака, — сказал он, громяхая, — а звать его — собака. Так прямо ему и передайте.

Три груди усиленно дышали. Торопливо проскрипели под окном шаги.

— Тогда мы вас должны арестовать...

— Так арестуйте! — Зыков разом опрокинул вверх ногами стол и поднялся головой под потолок.

Красноармейцы схватились за винтовки, Зыков за безмен. Курица сигнул к печке, кричал куриным криком:

— Ребята, не трог его, не трог!.. В смятку расшибет.

— Начальство?! — чугунный Зыков швырял, как ядра, чугунные слова.

— Над Зыковым нет начальства! Зыков сам себе царь!

— Товарищ Зыков, товарищ Зыков... — стучали зубами красноармейцы: — нам велено...

— Положить винтовки, — властно приказал Зыков, и по-орлиному глянул им в глаза.

Послушно, как напуганные дети, сразу обратившись в детей, оба молодых парня выпустили из рук ружья и стояли во фронт, каблук в каблук.

Зыков не торопясь зашагал к двери. Им показалось, что прошел мимо них поднявшийся на дыбы конь, и горница враз стала тесной, маленькой.

— Эй! — крикнул Зыков за дверь и — вбежавшим людям: — Этих двух взять под караул. Напоить, накормить. Утром отправить в обратный путь. С Курицы чалпан долой... Чтоб другой раз не попадал в руки, кому не следует. Башку показать мне.

Курица взвизгнул и, лишившись чувств, пластом растянулся на полу.

Меж тем ударила весенняя ростепель, с круч бешено поскакали водопады, и проснувшиеся горные реченки пьяно взбушевали, срывая трухлявые мосты.

Горные дороги рухнули, и семейство Перепреевых надолго осело в глухой заимке верного сибиряка-старожила Тельных.

Родные глаз не спускали с Тани, по ночам караулили ее. Таня караулила весенние ночи: Господи, сколько в небе звезд, и как по-новому, напевно и страстно, шумят в ночи сосны! Нет, не укараулить Таню: сосны влекут куда-то, манят Таню в голубую сказочную даль.

А в голубой дали, не в сказке, там, за горами, у белых стен монастыря, бесшабашная дружина Зыкова дружно выбивает из монастырских закоулков, как тараканов из избы, остатки карательного белого отряда.

Не одна уже была стычка, Зыковская дружина поредела — кто убит, кто бежал, кто умирает, но и вражеских трупов, вперемежку с партизанами, немало чернеет на посиневших снегах, среди остросребрых скал, меж стволами хвойных, пахучих по весне лесов.

И сосны, как свечи, аромат их — надгробный ладан, ветер панихидно шуршит в густых ветвях, и от'евшееся коршунье важно похаживает среди поверженной рати мертвецов. Вот коршун на груди безглазого, безносого, бесщеккого офицера, на груди золотятся под солнцем пуговицы и сверкает под солнцем золотой погон, коршун повертывает голову вправо-влево, блестит бисером любопытствующих глаз, любит на золотые кружечки: — кар-кар! — и — клевать... Нет, не вкусно.

Но вкусно ли было отважным силачам переть на себе за сорок верст грузную, когда-то отбитую у чехо-словаков пушку — по горам, по сугробам, чрез кручи, ущелья, чрез убойный надрыв и смерть?

А все-ж-таки приперли, вкартечили в гнездо двадцать два заряда, ухнули бомбой, и белые стены выкинули белый капутный флаг.

Спервоначалу крестьяне были рады: — «Зыков, батюшка... Избавитель наш, заступничек»...

Осада длилась две недели. Зыковские кучки обирали купцов по богатым алтайским селам: надобен фураж, надобна жратва людям, надо всякой всячины, конь храмлет, — коня давай. Потом добрались до богатых крестьян и, в конце, уж стали щупать средняков. Бедноты же, как известно, в Сибири мало, поэтому зароптал на Зыкова, озлился без малого весь Алтай, имя Зыкова стало пугалом, и толстомясые бабы стращали ребятишек:

— Ужок тебя, поскуду, Зыков-то... ужо...

Старушенки же шипели:

— Антихрист... Церкви рушит. Эвот в Майме колокольню, сказывают, скovyрнул. Жига-а-ан такой!..

И все как-то случилось быстро, непонятно, глупо. Шмыгал всюду какой-то вислоухий черный, обросший щетиной, карапуз, черкес не черкес — должно быть, чех, — а может и русской матери ублюдок. Шмыгал, нюхал, шушукался с крестьянами, с бабьем. Ага! Зыков победу справлять намерен.

И какие-то галопом проносились нездешние всадники из пади в падь, из тропы в тропу, а то и по большой дороге кавалькадой в вечерней мгле. Им вдогонку, в спины, летят от сторожевых костров партизанские пули. Эх, дьяволы-ы-ы!..

И вот широкое, сибирское разливное гулевань. Мужики радехоньки, пивов наварили, — Зыков уходит, так его растак... Ребята, чествуй!

И к концу гулеванья, в тот час, когда особенно тосковало сердце Зыкова, — вдруг на улице: стрельба, гик, сабли, грохот, треск ручных бомб, вопли, стоны, матерщина.

Зыкова брали в избе. Вломилась целая орда морд, криков, блеснули стволы направленных в грудь револьверов, блеснули погоны, закорючились черные усы и сотни глаз выкатывались от ярости:

— Стой! Ни с места! Руки вверх!..

Зыков мигом загасил огонь. Сразу тьма. Хозяева с гвалтом опрометью вон. Затрещали выстрелы. Зыков поймал, рванул от пола трехпудовую, из кедрача, скамью:

— Богу молись, анафемы!! — и, круша головы, как горшки, взмахивал скамьей с сатанинской силой. Был смрадный ад. Пахло порохом, бесцельно трещали перепуганные выстрелы, теменьская темь качалась, ойкала, визжала, плевалась кровью, кричала караул.

Все смолкло, всех уложил Зыков, спаслись лишь те, что залезли в печь, под шесток, или упали своевременно на брюхо.

Он вышиб обе рамы, выскочил на улицу и под выстрелами, в одной рубахе, бросился бежать через огороды в лес.

Погоня сначала потеряла его из виду, но в небесах выутривал рассвет, и Зыков, стоя на скале, бросал вниз, как ядра, чугунные слова:

— Врешь! Врешь, белая сволочь! Я еще вам покажу-у...

«Жжу-жжу!» — жухали возле его головы десятки пуль.

— Врешь!.. Меня пуля не берет... Завороженный! — и тряс кулаками и еще громче кричал на весь Алтай.

Он лазит по горным тропам и бомам, как горный козел-яман. За ним покарабкались было трое, но страх магнитом потянул их вниз.

Солнце встало и снежные вершины были все в крови.

Зыков спустился в долину речушки, добежал до стога и забился в сено, в самый низ. Ему показалось, что он не озяб, он был внутренне спокоен, до конца владел собой, но вот, когда уж обогрелся, его проняла такая дрожь, он так трясся и подпрыгивал, щелкая зубами, что стожище сена дрожало и щетинился, как огромный еж.

— А ты, Зыков-батюшка, Степан Варфоломеич, на трахт не выезжай, горами дуй... Поди, возле Турачака чрез Бию и по льду переберешься. Поди, коня-то вздымет... Все-ж-таки, поостерегись.

Зыков сидел верхом на буланом жеребце. Черного своего коня он потерял. Одет он был в нагольный овчинный пиджак, на голове черная папаха с золотым позументом наверху. Папаху он стащил с какого-то мертвеца, попавшегося под ноги во вчерашнем беге. Безмен, винтовку, пистолет Зыков тоже потерял, остался один кинжал.

Лицо его грустно и болезненно, под глазами мешки.

— Ежели встретишь кого наших, чтоб летели к моей заимке. Главная сила у меня там осталась. Всем так толкуй... Прощай, Михайло.

И жеребец понес всадника к востоку.

Дорога была убойна, версты длинные, но Зыков хорошо знал Алтай и ехал уверенно. По ночам заезжал на заимки и в деревни к знакомым мужикам, обращался с горячим призывом слать к нему людей, но получал отпор. В одной деревне такие слышались речи.

Краснобородый, с красными нажеванными щеками крестьянин недружелюбно говорил:

— А ты, Зыков, нешто не слыхал про повстаннический Ануйский с'езд в прошлом году, в сентябре? Мы за порядок стоим, а не за погром. Погромом ничего не взять, Зыков. Дисциплина должна быть, чтоб по всей строгости ответственность, тогда и жизнь наладить можно... Нешто не читал прокламаций крестьянской повстанческой нашей армии?

— А ты моих прокламаций не читал? — спросил Зыков.

— Знаем твои прокламации: замест города головешки одни торчат.

— А где ваша повстанческая армия? — запальчиво крикнул Зыков. — Колчак пух из нее пустил!

— На то Божья воля.

— Нет, братцы! Еще рылом не вышли. А вот идите ко мне... Подбивайте людей, чтоб шли.

— Едва ли, Зыков, пойдут. Накуралесили твои шибко, — сказал седой, осанистый старик. — Да слыхать, быдто красные повсеместно укрепляются. Колчаковцы хвост показали.

— Будем за правду стоять, — горячо возражал Зыков. — А про красных погоди толковать... Еще неизвестно.

Мрачный встревоженный едет Зыков. Своих не видно. Неужто рассыпались, как стадо баранов, и забыли про него? Тогда он бросится к Монголии, бросится в Минусу, там наберет себе ватагу. Зыков жив, и дела его прогремят по всей земле.

Заезжал к кержакам, молодежь от него пряталась, уезжали в лес, будто по дрова, по сено, старики же награждали Зыкова всем, чем хочешь, просили погостить. Но гостить было некогда, солнце работало во всю.

На прощанье язвительно кидали старики:

— Слыхали, слыхали про старца-то Варфоломея, родителя-то твоего. А впрочем сказать, мало ль что болтают зря...

Через Бию переправился по льду пешим, и то едва-едва, бросал под ноги доски. Буланого жеребца пришлось отдать какому-то крестьянину. В Турачаке Зыков получил в подарок белого крупного коня и винтовку с патронами. Подарил беглый солдат Матюхин, обещал — вот маленько отдохнет — приехать к нему на службу. Это обязательно и, пожалуй, еще народу приведет. Что касасемо красных, власть очень крутая, говорят. Пожалуй, Зыковской ватаги не потерпит.

— Чорта с два! — и Зыков надменно потряс нагайкой. — Красная власть... Ха!.. Я сам власть. Две тыщи под верхом у меня коней было. Это не власть тебе?

За Бией он ехал открыто, по дороге.

С полей согнало снег, только северные склоны гор были еще в белых шубах, бурые луговины зеленели, кой-где цвели холодные фиалки, и робкими огоньками желтели лютики. Гогот гусей и журавлиное курльканье падали на землю вместе с лучами солнца, как радостный крик возвратившегося из-за морей изгнанника. Зыков вскидывал к небу глаза, искал вольные стаи птиц, но сердце его было в тоске и холоде. Как, однако, плохо одному. К жене, что ли? Нет. К Степаниде?

Зыков задумался, опустил голову, опустил поводья.

И вот вышла из лесу Таня, вся в цветах, одетая, как монашка, на голове из цветов венки, в руках восковая красная свеча.

— Зыков, миленький.

— Таня? Как ты?

— Убежала, к тебе... Убей, либо полюби... Люблю тебя.

Зыков едет дальше, и пред ним Таня, будто плывет по воздуху, легкая, большеглазая, лицом к нему: «Люблю тебя».

Зыков подымет голову, озирается и горестно хохочет. Эх, если б Таня живая, настоящая, вот за кого Зыков сложил бы голову свою... Эх...

Нет, нет, Зыков должен быть один, прочь дьяволово навождение.

А дом, своя заимка все ближе. Наверное там люди поджидают его. Подберет самую головку, отборных испытанных вояк. Его дружина будет, как камень, как пламя, как лавина с гор. Чует Зыков, что с красными ему доведется в перетык вступить. Ну, что ж!..

И верно: со всех концов летели на него доносы в центр, туда, сюда: «Зыков, правда, бьет белых, но он же мытарит и мужиков. Кто хуже, Зыков или белые? Оба хуже. Власть Советов, спасай народ!»

Вечер. Солнце огрузло, опустилось в горы, стало холодно. Воздух чист и прозрачен. Далекие, за полсотни верст, хребты казались тут же рядом, хватай рукой.

Он спускался в глубокую котловину. Дно котловины зеленеет свежими всходами, в середине, в еще оголенной роще группа просторных изб — кержацкая богатая заимка.

Суббота. Он слез с коня и, пошатываясь от засевшей в нем болезни, вошел в моленную.

Огоньки, пение, народ — мирный, родной — и пахнет ладаном. Он принялся: да, не порох — ладан, и горящие свечи — не разбойничьи костры, и свой знакомый старый Бог, свой, кержацкий. И ему захотелось молитвы, слез: вот так упасть на колени и плакать, плакать и каяться в грехах, молиться о своей собственной судьбе, плакать и просить Бога о своем личном счастье: дай Боже, усладу дням подлого раба твоего, Стефана". Сердце стонало от боли и душа вся избита, обморожена. Народ поет стихиры, старец возглашает и кадит, звякает кадильница, и Зыкову мерещится, что это панихида, что он, Зыков, лежит в гробу, в гроб заколачивают гвозди, народ с возженными свечами отдает последнее рыдание, еще маленько, и мертвец будет опущен в землю. А-ах...

Он схватил скамью и вдребезги расширяет врагов своих, крик, стоны, гвалт, черный конь мчит Зыкова сквозь пули, огонь, вой вихря и — стоп! — отлетела голова. Наперсток гекнул, гекнула вся площадь — «гек» — и отлетела голова. А конь мчит дальше, черный как чорт, с горящими глазами, как у чорта — стоп! — тот самый дом, любезный Танин дом, и Танин голос рыдает надгробно вместе с другими голосами. Гроб. Он, Зыков, лежит скрестив на груди руки.

— Не хочу умирать, — боднув головой, резко прошептал он.

На него оглянулись. Холодный пот покрывал его лицо.

Кругом все то же: свой старый Бог, тихие огни, тихий и торжественный голос старца. Зыков вздохнул всей грудью и перекрестился.

После службы все расселись на приступках крыльца, на бревнах. Зыков затеял разговор, наблюдая, как относятся к нему одноверцы. Ему обносило голову, и зябучая дрожь прокатывалась по спине.

— Здорово, Зыков, — мягким тенорком проговорил маленький брюхатый, он встряхнул льяными волосами и сел в ноги у Зыкова, прямо на землю. Лицо у него рябое, с толстыми побуревшими щеками, глаза блеклые, безбровые.

— Ты откуда? Не знаю тебя... — проговорил Зыков, и что-то шевельнулось у него внутри.

— Я дальний, с Минусы... Федосеевского толку. Ну-ка, скажи, Зыков, пожалуйста: за кого ты воюешь, за старую веру, что ли?

— А ты как сюда попал? — допытывал Зыков. — Как узнал про меня?

— Да случай, случай, батюшка Зыков, случай, отец родной... Пасечник я, пчелку Божию уважаю, ах, благодатный зверек Христов... Ну, разорили меня всего эти самые белые, пасеку разбили, ста полтора ульев... А у меня возле вашего городишки братейник, тоже пасечник... Я к нему. Как глянул в городке, чье дело? Зыкова. Одобрил, потому церкви никонианцев жегчи надо и духовным огнем и вещественным... Так-то вот. — Он помолчал, снял черную шляпу, повертел ее на пальце, опять надел. — А ведь красные-то, большевики-то, Бога совсем не признают. Ни русского, ни татарского Аллу, ни жидовского. Во, брат...

— Неужто? — встрепенулся Зыков.

— Говорю, как печатаю: верно. А у них свой бог — Марс, хотя тоже из евреев, с бородищей, сказывают, но все-ж-таки в немецком спинжаке. Во, брат...

— Ежели не врешь, — сказал Зыков, скосив на него глаза, — я за веру свою старую умру.

— А красные? Значит, ты насупротив красных?

Зыков медлил, чернобородый сосед толкнул его локтем в бок. Зыков отрубил:

— Прямо тебе скажу — не знаю, за что красные, я — за Бога, — и встал.

Рябой, посопев, нахлобучил шляпу на уши, протянул:

— Та-а-ак...

Зыкову почему-то вдруг захотелось схватить его за горло и придушить.

Легли спать на полу, на сене. Рябой кержачишка тоже лег.

Ночью Зыков спал тревожно, охал. Видел путанные сны, то он голый лезет в прорубь, то в царской одежде, в золотом венце об'являет, что он медвежачий царь, и берет себе в жены молодую киргизку, дочь луны, но из бани ползет змея и холодным липким кольцом обвивает его шею. Он стонет, открывает глаза и просит пить.

«Заколел тогда, прозяб, немогота приключилась», — думает он.

Рябой исчез. Недаром ночью лаяли собаки.

Утром чернобородый кержак сказал тревожно:

— А езжай-ка ты, Зыков-батюшка, поскорейча к себе.

— А что?

— Да, так... Рябой чего-то путал... Путем не об'яснил, а так... оки-моки... Да и какой он, к матери, кержак... Перевертень... Так, сдается — подосланец.

Зыков затеребил бороду, крикнул и быстро стал собираться.

— С оглядкой езжай, — предупреждал чернобородый: — оборони Бог, скрадом возьмут, в горах недолго...

— Больно я их боюсь, — сказал Зыков и поехал к дому.

Голова была пустая, тяжелая, и мысли, как сухой осенний лист, кружились в ней, шумя. Сердце все так же неотвязно ныло. Образ Тани вонзился в него, как в медвежью лапу заноза:

досадно, больно, тяжело жить. А тут еще этот чорт, рябой.

День был серый, в облаках, изредка падали дождевики, и с дождевиками падали трельные переливы висящих над полями жаворонков. Дорога кой-где пылила: встречались таратайки, верховые. Зыков круто сворачивал тогда и, притаившись, выжидал.

Поздний вечер. Каменный кряж пресек дорогу. В скале проделан узкий ход. Копыта четко бьют о камень. Камень черный и в узком проходе — ночь, черно. Зыков приготовил винтовку и чутко напрягает слух. В черном мраке навстречу цокают копыта. И в камне раскатилось Зыковское:

— Держи правей!..

Встречные копыта онемели. Зыков взвел винтовку и процокал вперед. Молчание. Слева кто-то продышал, всхрапнула лошадь. — «Притаился, дьявол... Целит...» — оторопело подумал Зыков и приник к шее своего коня: «Вот, сейчас...» Испугавшаяся кровь быстро отхлынула к сердцу.

Но засерел выход. Зыков ошпарил коня нагайкой и вскачь.

А вдогонку с ужасом, с отчаянием:

— Зыков, ты?! Стой, стой!!

Но пыль из-под копыт крутила вихрем, скрывая скачущего всадника.

Парень долго гнался, потом остановил запыхавшуюся свою кляченку и заплакал. Он плакал навзрыд, с отчаянием, и, как безумный, вскидывал руки к небу. Он ничего не слышал, ничего не видел пред собой, весь свет враз замкнулся для него.

Парень повернул лошадь, вз'ехал, все так же плача, на гребень скалы, слез с седла и подошел к краю пропасти. Вот он, узкий, высеченный в скале проход, где они только что встретились с Зыковым.

Парень заглянул вниз, в страшный сырой провал. Сердце сжалось. И только в этот миг в сердце Зыкова ударил бешеным бичем огонь. На всем скаку кто-то резко рванул его коня, и конь помчал всадника обратно.

Парень отступил несколько шагов, чтоб разбежаться, сбросил шляпу и — вдруг:

— Эй, парнишка!

Парень оцепенел. И чрез мгновение:

— Зыков, миленький!!

Все горы перед Зыковым вдруг заколебались:

— Танюха! Ты?!.

— Степан! Голубчик!.. Ведь ты на смерть поехал!

— Как?

— Твою заимку красные взяли. Большой отряд, человек с сотню... Пулеметов много, пушка. Тебя стерегут... Бой был. Скорей, скорей, отсюда!..

— А где ж мои все?

— Твои убежали кто куда.

Зыков побагровел. Белый конь его тяжело водил взмыленными боками.



Когда выбрались на дорогу, наступила ночь, звездная, весенняя, в сыпучем золотом песке.

— Там келья для тебя, место скрытное. Не опасайся.

Та же ночь висела и над городком, над заимкой Зыкова, над всей землей.

И попадья впервые в эту ночь решилась признаться мужу:

— А ведь я, отец, понесла...

— Ну? — и отец Петр радостно перекрестился.

— Уж три месяца, отец.

Батюшка встал, благословил утробу супруги своей, и в одном белье опустился перед образом на колени. Молитва его была не горяча, а пламенна: ведь так ему хотелось иметь второе чадо. Девять лет пустовало чрево жены его, и на десятый год разрешено бысть от неплодия. Боже, Боже...

Матушка слушала слова молитвы и не слыхала их. И в эту минуту особенно остро встал перед ней вопрос: чье же дитя зреет у нее под сердцем? За упокой души раба Божия новопреставленного Феодора она молиться будет обязательно, а вот другой раб Божий помер или жив?

Настя тоже три месяца как понесла, но об этом — ни гу-гу. Господи, хоть бы муж не возвращался, Господи... Убьет. Настя, как и попадья, тоже не знала, чье дитя зреет у нее под сердцем. Придушить его, родненького, маленького, или оставить — пускай живет.

А ночь шла, катились звезды, золотой песок дрожал вверху и сыпался на землю.

Зыков вскидывал к небу глаза, золотые песчинки залетали в сердце, и так хорошо было сердцу в этот миг. Зыкова охватило свежее, небывалое, такое непонятное чувство. Он пытал побороть себя и не хотелось бороться. Он дышал порывисто, закусывал губы, кричал, но у сердца свои законы, и даже чугунное сердце не в силах превозмочь вдруг вздыбившейся любви. Зыков дрожал и в его сильных руках дрожала Таня.

Белый конь ступал тяжело, как литая сталь. Сзади серой мышью тащилась пустая кляча.

Таня прижималась к Зыкову. Он целовал ее в лоб, в глаза. Оба молчали, и все молчало кругом: горы, леса, златозвездная ночь, только бессонная реченка, разрывая о камни бегучую грудь свою, стонала в горах, плакала, кого-то кляла.

И настроение Зыкова быстро сменилось, короткие сладостные порывы уступали место гнетущему отчаянию. Страшное известие Тани хлестнуло по его душе, как по одинокому кедру ураган, корни лопнули, Зыков оторвался от земли, и вот жизнь его вдруг вся покривилась, покачнулась, падает, словно подрубленная колокольня. Как? Неужели его колокол отзвонил, и навеки умолкла труба горниста?

Может быть, вырвать из сердца занозу — будет больно, ну, что ж? — Зыков начнет все снова... эх, придушить девчонку, что дрожит в его руках... Чорт ли, девка ли, может, волшебница с притворным зельем — раз и навсегда!

А что же дальше? Нет, не в девчонке дело, не здесь застряла окаянная, трижды проклятая судьба его.

Внутренним взглядом он озирается назад. Там, в туманных прошлых днях — крепкий царев острог. За правду, за веру, за смелые слова, по сыску попов и начальства, гоняли его, как собаку, из тюрьмы в тюрьму. А кончил высидку — по Руси бродяжил, по Сибири, узнавал людей. «Эх, с этим бы народом, да раскачку. Уж и грохнул бы я ручищей по земле!» Потом подошла война, и за войной — пых-трах: вздыбил народ — мятеж, огонь и буря.

И вот Зыков снова родился в мятежной буре и услышал в своей душе приказ: «Встань на

защиту рабов, борись за правду, а правда и Бог одно — борись за Бога». Как осколок корабля он был выброшен бурей на скалу. И с вершины скалы раздался его призывный смелый клич: «Кто, простой люд, за обиженных? кто за правду?.. Эй, братья! все ко мне!»

Зыков думал — нет правды без Бога, и Бог без правды мертв есть. И как думал, так и делал: за старого Бога, за правду, за угнетенный люд! Он все бросил, все спалил, что было назади, обрек себя на страшный бой, и карающий меч его не боялся крови. За Бога, за новую правду! Буря и кровь и огонь, не страшно, не грех — так надо. Бурей носился по Алтаю Зыков, старый отец бросил ему: — Назад! Богоотступник! — смерть отцу! И вот отец убит.

Все, все принес Зыков в жертву новой правде, жену, богатство, даже отца убил. А дальше?

Дальше — ночь, горы, звезды, и дорога пошла в под'ем.

В нем все дрожит и мутится. Там, у пропасти, куда хотела броситься Таня, Зыков узнал от нее, что красные ищут арестовать и убить его. О, Зыкова не так-то легко поймать. Пусть попробуют. Но за что, за что? За то, что он осквернил революцию своим разгулом в городе, уничтожил казенное добро, разграбил склады, казнил многих невинных по гнусному доносу, без суда. Враки! Суд был, все решалось на улице! Но Таня не виновата, она, переряженная парнем, так подслушала возле Зыковской заимки, у костра.

В Зыкове все дрожит и мутится. Конь напрягает мускулы, дорога идет в под'ем, но душа Зыкова неудержимо лезет в преисподнюю.

— Танюха, голубонька моя, — начинает он тихо и не может, не знает, какие надо говорить слова. — Приедем, я тебе буду сказывать сказки. Я знаю занятную сказку про славного вора и разбойника Ваньку Каина.

— Ты сам — сказка.

— Я — чорт.

— Ты для меня Бог.

— Пошто этакое святое слово вспоминаешь?.. Я совсем сшибся с панталыку, округовел. И сам не знаю теперича, кто я.

Таня прижалась правой щекой к его груди, и когда Зыков говорит, его грудь гудит и ухает, как соборный колокол. Тане тепло возле большого сильного тела, Тане беззаботно, радостно: Зыков с ней. И не жаль ей ни мать, ни сестру, ни дядю.

Долго Зыков говорит, потом едут в молчании — Таня дремлет. Он что-то спросил, в голосе надрыв, тревога; Таня поймала сердцем, открыла глаза, думает, как ответить.

— У них своя вера, земная... — говорит она.

— Так, так...

— Когда я училась в губернском городе в гимназии... Недолго я училась, три зимы всего... А брат мой Николенька был техник. Пропал куда-то он. Как настала революция — ни словечка не писал нам. Ну, вот. А жили мы с ним вместе. Студенты к нам заходили, революционерами считали себя, сходки там, выпивка, запрещенные песни. Что говорили, не помню ничего, да и не понимала тогда. Только хорошо помню, что Бога они не признавали. Бабы сказки, мол, чушь. Вот также и большевики...

— Ну? Неужто? — грудь Зыкова загудела, и загудели горы.

— Это — ничего... У них своя религия... Своя правда. Всяк по своей правде должен жить.

— Угу, — сказал Зыков, и горы сказали «угу». Зыков добавил: — У них своя правда, у меня своя. Лоб в лоб друг другу смотрим, а хвостами врозь.

Мускулы лица его судорожно играли, меж сдвинутых бровей углубилась складка, он тяжело вздохнул, присвистнул и ударил коня.

Небо бледнело, звезды скрывались вместе с тьмой. Неуверенно пропорхнула полуночная птица. Где-то вдали кричал марал, и крик его, как мяч, перебрасывался от горы к горе.

Зыков понял, что все для него кончено теперь. Значит, прав подосланный перевертень, рябой кержачишка, — для новой власти Бога нет. Ага!

И неожиданно:

— А ты, Танюха, боишься смерти?

Таня не сразу поняла.

— Боюсь, — передохнув, сказала она, и еще сказала: — При тебе — нет.

Он опять роняет: «угу» и долго едут молча.

Он в сущности не молчит, он в молчаньи спорит сам с собой, задает вопросы, соглашается, молча опровергает себя, иногда громко восклицает:

— О, чорт!

Тогда Таня открывает глаза, ей очень захотелось перед утром спать, она так за последние дни истомилась.

И на главный вопрос свой Зыков никак не может подыскать ответа. Сначала, с прошлого года, было так просто и ясно все: он бил белых, бил чехо-словаков, мстил попам, богачам и власть имущим, он стоял за правду. Он чувал и знал, что оттуда, из-за Уральских гор, идет и придет сюда сильная рать, с той же самой, с его, Зыковской, правдой. Вот рать пришла и принесла с собою свою, новую, не Зыковскую правду. Да разве две на свете правды? Нет, вся правда у Зыкова, потому что он с Богом, те же — без Бога, и в их делах, в их сердце — ложь. Так или не так? Кто даст ответ ему?

Он не верит сам себе, и его душу раздирает смертельная тоска.

А дорога подошла к отвесной скале, и отсюда по узкому карнизу-бому будет итти версты две над страшной бездной.

— Танюха, лебедка белая, — ласково говорит он, — а ведь тебе на свою кляченку придется сесть.

— Боюсь. Не езживала по бомам.

— Как же быть?

И горы спросили: «как же быть?». В горах тишина, горы жадны до звуков, горы, как попугаи, любят поболтать с людьми.

В темных кручах под ногами белел туман, из ущелий, из падей между гор тоже гляделись зыбкие облака тумана. Наступал рассвет, небо полиняло, защурилось. Было очень свежо, в каменных выбоинах замерзли лужи, и бесчисленные хрустальные зеркала поглядывали холодом на Таню.

— Я озябла, — сказала она, передернув худенькими плечами.

— Греться некогда, — сказал Зыков. — Вот встанет солнце, обогреет. Кровь у тебя, как горячая брага хмельная, ничего. Так и быть, поедем на одном коне, только я впереди, а ты позади меня, верхом, сиди прямо в струнку, держись за мой кушак, гляди в спину, вниз не гляди, с непривычки страшно, голову обнесет. Дорога убойная. Вишь, какая дорога? Ну, с Богом.

Он старался говорить уверенно, ободряюще. Когда двинулись, добавил:

— Ничего... Не бойся.

Но Таня вдруг забоялась, ей стало страшно от голоса Зыкова, ей сердце вдруг сказало: берегись!

Да, в голосе Зыкова притаилось что-то, как в чулане вор. Он решил кончить все разом. Он все принес в жертву, отца убил, — но что же оказалось на поверку? Партизаны, друзья, все, все оставили его, и правда его — не правда. Значит, довольно жить. И это будет незаметно, будет сразу, Таня не успеет испугаться.

— А ежели, деваха, я умру?.. вот нечаянно с седла ежели сорвусь. А? Да в пропасть... А?

— Ой, молчи ты, — прозвенело за спиной с мучительной болью. — Лучше я... Зыков,

миленький...

— Ты молодая, будешь жить... Мое дело кончено...

— Умирать так вместе.

— Ты с ума сошла, деваха!..

— Аха!.. — раскатились горы.

Стало светло в горах, и небо на востоке порозовело.

Таня повернула голову влево. В аршине от ее глаз медленно двигалась серая стена ребристого с опрокинутыми слоями сланца. Кой-где в расщелинах кустики травы, кой-где мох, вот зеленая ящерица сидит на выступе, как игрушка, ждет солнечных лучей.

— Почему это у меня ноет сердце?.. Ужасно ноет, — помолчав, сказала с тревогой Таня.

— Скоро успокоится, — ответил он.

— Почему скоро?

Он молчал. Таня перестала дышать. Сердце ее захолонуло. Преодолев волнение, спросила сквозь испуг:

— Почему?

Зыков ответил дрожащим неверным голосом:

— Потому что... — и остановился. — Потому что взойдет солнышко.

Таня глубоко вздохнула и уперлась лбом в спину Зыкова.

Ей захотелось взглянуть в провалище, вправо, но страшно. Ах, как хочется взглянуть. Нельзя, надо, нельзя, нет надо. Голова повернулась сама собой, глаза упали в бездну. Таня взвизгнула и мотнулась на седле.

— Защурься! — крикнул Зыков. — Самое опасное место скоро...

И вдруг заговорил как-то необычно торопливо и приподнято:

— Знаешь ты... Только сиди смирно, закрой глаза. Я расскажу тебе все, я покаюсь тебе...

Меня томят грехи, дух мой в огне весь, на сердце мрак... Мне надо покаяться, очистить себя... Некому больше, как тебе... Слушай!

— Зыков, что ты...

— Молчи, слушай...

— Я боюсь... Страшно мне, Зыков...

— Слушай!.. Сиди смирно... Закрой глаза...

Они были на страшной высоте. Узкая тропа опоясывала почти отвесный склон скалы, как карниз. Конь выбирал, куда ступить. Конь дрожал. Основание скалы скрыто от взора. В пропасти белым жгутом изогнулась речка, она внизу сотрясает камни, грохочет, но сюда не долетает ее рев. Не надо глядеть вниз... Зыков поднял глаза к небу. Конь, всхрапывая, осторожно шел вперед. Зыков бросил поводья.

— Слушай! на моей душе много крови, может, невинной... Слушай, никому не говорил, тебе скажу: я своего отца убил, старца святого, Варфоломея... Да, да... А твоего я не убивал, твоего убили мои.

У Тани глаза широко открыты, открыт рот, и уж ей не страшна бездна, она забыла про опасность, ее страшит иное.

— Степанушка, Степанушка, голубчик!.. Как мне жаль тебя.

— Правда моя в крови, — Зыков говорил скорбно, с убеждением и страстью. — Грехи свои и людишек на мне, как камни. Боже, Господи! Неужели у тебя не найдется милости ко мне? Неужели нет мне спасенья и пощады?

У Зыкова бегут слезы по обветренному носу, на бороду, на грудь. Таня тоже плачет, но не замечает слез.

— Слушай... Ведь не зря же я такой грех на душу взял... Ведь я не изверг, не тать, не

убивец, я верный слуга Христов. И вот чую, все дело мое рушилось. Рушилось, девонька, рушилось... Чую, идет против меня сила, сильнее меня. И у той силы другая правда... Ежели я прав, они меня сломят своей силой, а ежели правы они — сердцу моему прямая погибель, ведь от своей правды я не отступлюсь. Так стоит ли жить мне?.. Слышишь?

— Ты не любишь меня! не любишь!..

— Люблю... Вот увидишь, не расстанусь с тобой... Люблю.

Вот оно, самое узкое место. Осторожный конь едва уставляет свои ноги на скользкой, точно отполированной, в аршин, тропе. Левые коленки всадников задевают выступы скалы, правые же, вместе с круторебрым боком коня, висят над пропастью. Конь трепещет. Он наваливается на скалу, боясь низринуться. Его копыта стучат по скользкому краю обрыва. Ах...

— Не любишь!..

— Сказал, люблю...

— Не любишь, не любишь, не любишь...

Солнце всходит, черное-черное, вот его лучи, они, как кинжалами, бьют в глаза и в сердце.

Зыков заносит левую руку, чтоб оттолкнуться от скалы... Ах... Тогда вмиг все трое, конь и всадники ухнут в бездну: смерть скорая, в крике, в грохоте, в движении.

Зыков весь похолодел.

— Прощай! — крикнул он, накрепко сомкнул глаза, и с силой оттолкнулся.

Все сразу ахнуло, рушилось, закувыркалось, горы скакали и крутились, грохотом раскатывался гром, под ногами то солнце с небом, то земля, то солнце, то земля — трах-трах-трах — вдруг искры, молчанье и тьма.

\* \* \*

... — О-о-ох... — надрывно выдохнул всей грудью Зыков и открыл глаза. — Моченьки моей нет, рука не подымается... Любушка, любушка моя... Танюха.

— Степанушка, Степан Варфоломеич! Что с тобой?

Зыков широко перекрестился и вытер рукавом крупный на лице пот. Он весь дрожал и поводил плечами. Этот ярко представленный и пережитый им миг смерти разом испепелил в нем все отчаянье, всю душевную труху. Он — снова прежний — сильный, крепкий, как чугун.

Тропа повернула влево, в расселину, выбросилась на широкую площадку. Извиваясь меж огромных камней и маленьких, уродливых сосенок, она стала постепенно снижаться в лесистую долину.

— Ну, Танюха, будь, что будет, а только перед Богом ты жена мне. Так полагаю, жизнь у меня настанет новая. А никакой власти я знать не хочу, ни советской, ни колчаковской. Я сам себе власть. В Монголию уйду, либо в Урянхай... И тебя с собой... Не отстанешь? Дело будет... Войско соберу. За правдой следить буду. Ха, поди, испугалась? Поди, зашлось сердчишко-то?

Таня смеялась звонко, плакала радостно, целовала Зыкова, смеялась и плакала вместе.

Солнце поднималось жаркое, и густые травы здесь были все в цветах.

Дул небольшой ветерок, перешептывались сосны, день клонился к вечеру.

Тереха Толстолобов сегодня не в духе: вырвавшийся из бани медвежонок задавил двух гусаков и перешиб собаке позвоночник, собака на передних лапах, волоча зад, уползла под амбар и там визжала дурью.

Тереха бил свою старую жену, а Степанида, вытаскивая из жаратка кринки, ухмылялась. Но вот она услышала во дворе голос Зыкова, и ее бока вдруг тоже зачесались.

— Ладно, ладно, дружок Степанушка... — говорил у ворот Тереха, — ублагодворим, как след быть... И какой это тебя буйный ветер занес опять? Эй, Лукерья! Да не криви ты харю-то... Тьфу, бабья соль. Живо очищай горницу, с девками в амбаре поживете, не зима теперича...

Пред Степанидой стоял Зыков:

— Здорово, молодайка. Отбери-ка самолучшие наряды свои... Вы ростом одинаковы, кажись... Ты погрудастей только. Иди, оболочки ее... там, в лесочке она... Награжу опосля... Ну!..

Степанида сразу все поняла, румяное лицо ее побелело:

— Степан Варфоломеич... А я-то, я-то...

Но в это время вошел Тереха, крикнул:

— Поворачивайся живо! бабья соль...

По двору бегали собаки. Сука под телегой кормила щенят. В трех скворешниках щелкали и высвистывали скворцы, их полированные перья сверкали на заходящем солнце.

Дно котловины, где заимка, покрывали густые вечерние тени гор. Прямо перед глазами спускался с облаков широкий желто-красный склон скалы, и, как седая грива, метался по склону далекий онемевший водопад. Лукерья с девками молча и деловито перетаскиваются в амбар. Кот хвост кверху, ходит за ними взад-вперед. Под телегу по-офицерски пришагал петух, повертел красной бородой, что-то проговорил по-петушиному и клюнул сосавшего щенка в хвост.

Задами, чтоб не показываться людям, Таня со Степанидой прошли в баню. Воды немного, но на двоих хватит, да Степаниде и мыться неохота, разделась за компанию.

Таня все рассказала ей. Степанида разглядывала белую, стройную, стыдливую Таню:

— Ну, и сухопара ты, девка. Какая ж ты можешь быть жена ему, этакая тонконогая. Ты погляди-ка, какой он Еруслан... Ох, городские, городские... И все-то вы знаете... Поди, не спроста он прилип-то к тебе... Поди, зельем каким ни то из аптеки присушила...

Таня улыбалась. Горячая вода, белая мыльная пена действовали на нее успокоительно. Она тоже разглядывала Степаниду. Степанида крепкая, ядреная, как свежее испеченный житный каравай, и пахнет от нее хлебом.

— А ты, должно быть, любишь Зыкова? — спросила Таня.

— Зыкова? Очень надо. У меня свой мужик, — раздраженно ответила баба, плеснув на каменку ковш воды. — Это вы, городские, с чужими мужиками путаетесь... Совесть-то у вас, как у цыгана... Да ты, девка, не сердись...

— Я не сержусь, — сказала Таня. — А про какую это Зыков Лукерью поминал?

— Ну, это так себе... Хозяину моему родня... — Степанида сердито захлесталась веником и, побрякивая, говорила: — А ты напрасно ему кинулась на шею... Для баб прямо злодей он, хуже его нет. Жену бросил, говорят. А мало ли девок через него загибло... И тебя бросит, а нет — убьет...

— От судьбы не уйдешь, — грустно сказала Таня, одеваясь и закручивая в тугой узел

темные свои косы.

Тереха угощал их на славу. Тереха рад: Зыков теперь ему не страшен, и Степанидино сердце, Бог даст, образумится. Экая стерва эта Степашка, чорт: все-ж-таки так и пялит глаза на Зыкова, а тот свою монашку по головке, да по плечикам точеным гладит. А хороша монашка... Ну, и дьявол, этот самый Зыков.

— Кушай, Степан Варфоломеич, кушай, милячок... Татьяна, как тебя по батюшке, пригубь. Самосядка хорошая, что твой шпирт. Эх, справлять свадьбу, так справлять!.. Чорт с ним...

Тереха с радости схватил двухстволку, выставил в окно, грянул сразу из двух стволов и заорал:

— Урра!! В честь новобрачных...

— Оставь, Тереха, не дури, — улыбался Зыков. — Какие новобрачные... Дай поженихаться-то.

— Ужо по грибы будем ходить, по ягоды! Хорошо, едрит твою в накопалки... Степан Варфоломеич, а ты брось свое разбойство-то... Давай работать вместех... Земли здесь сколь хошь. Ни один леший не узнает... А из твоих известна кому заимка-то моя? Ай нет?

— Никому, — сказал Зыков. — Был горбун один, Наперсток, да он теперь водичку в реке хлебает.

— Степан Варфоломеич не разбойник, — вступилась Таня.

— Нет, разбойник я... Это верно, — резко сказал Зыков и, не отрываясь, выпил стакан самогонки. — И ежели правды настоящей не увижу на земле, так разбойником и околею.

— Брось! — крикнул Тереха, и его рукава замотались в воздухе. — Правда твоя убойная. Тьфу такая правда!

— Эх, дружище, — сказал Зыков и похлопал его по плечу. — Ты в горах, как медведь в берлоге. Отсель и неба-то малый клочок, с козью бороду видать. Не твоего ума дело это. Не уразуметь тебе. А я, брат, как с торбой по свету путался, таких людей встречал, что ах... Бывают люди, а бывают и мыслете. Понимаешь? Мыслете, горазд мыслят, значит... Они мир-то разумом своим, как столбами, подпирают. Вот у них поспрошай про правду-то... Ну, да бросим об этом толковать... Я и сам не рад, может. Силища прет из меня, как с горы водопад возле твоей заимки... Видал? Поди, останови... Так и я... А может, я родился таким горбатым. У Наперстка на спине горб, а у меня душа с горбом.

— А ты выпрямляйся, Степан Варфоломеич, — сердечно проговорила Таня. — Ведь говорил же ты, когда ехали с тобой.

— Ну, тогда мы в зубах у смерти были... — и Степан бережно обнял ее. — Эх, Танюха, пташечка залетная. Пускай сегодня время будет наше, без тоски, без дум, а там видно будет. Ничего... Зыков не пропадет... Ну, бросим это. А помнишь Ваньку Птаху? Песни его помнишь?..

— Не надо, миленький, не надо...

— Ну, ладно, ладно... А хорошо парнишка пел... Я заприметил тогда, как сердчишко-то твое девичье затрепыхало. Эх, песню бы...

Все были в полпьяна, всем весело, только пред взором Тани мимолетно проплыла страшная та городская ночь. Царство небесное парню-песеннику. Таня вздохнула тяжело, но Тереха уж выплыл на средину горницы, приурезал каблуками в пол и, скосоротившись, загорланил песню:

— И-иэх да и во-о-о-уух... ты...

Зыков нагнулся и поцеловал Таню в губы. Степанида ударила стаканом в стол, — стакан разлетелся, — опрокинула табуретку и быстро вышла в дверь.

— Стой, бабья соль!.. Куда?

За дверью послышался стон и плач.

Когда шли Таня с Зыковым к обрыву, ночь была вся в звездах: в темной вышине все так же дрожал и колыхался золотой песок. Внизу, под обрывом белели заросли цветущей черемухи. Терпкий, духмяный запах подымался вверх. Наперебой, и здесь, и там, в разных местах, заливались соловьи. Зыков развел большой костер. Они сидели в дремучем кедровнике. Землю густо покрывала хвоя. Оба молчали.

Он вдруг вытащил откуда-то Акулькину конфетку с кисточкой, засмеялся и подал Тане:

— Девчоночка одна дала... На-ка!.. Вот сгодилась когда...

— А какая ночь, Степан... Чу, соловьи... Ой, сколько их... И посмотри, как внизу черемуха цветет.

— Эту ночь не забудем, деваха, в жизнь.

— Если завтра умру — жалеть не буду. Больше этого счастья, что теперь, не испытать мне.

Ах, какая радость любить тебя...

Соловьи пели всю ночь до утренней зари. И всю ночь плакала Степанида.

Пред рассветом Таня сказала, чуть согнувшись и глядя пред собою:

— Но почему же, Степа, милый, такая тоска? Сердце болит?

Пред рассветом Степанида пробралась сюда, в руках ее топор. У костра тишина. Зыков, должно быть, сказку рассказывает, на его коленях разметалась Таня.

Топор в крепких руках Степаниды очень острый. Вот Степанида хлестнет, оглушит Зыкова, девку искромсает: на! А сама бросится торчмя с обрыва. В ее глазах огненные круги и все, кроме тех двоих, куда-то исчезает. Она заносит топор и делает шаг вперед. Хрустнул сучок. Зыков обернулся. Она яростно швыряет топором в костер и с диким воем: «дьяволы, погубители!» — как сумасшедшая, мчится прочь, в трущобу, в мрак.



Зыков еще не совсем справился с болезнью. Последние месяцы — от расправы в городишке до тайного убежища на заимке Терехи Толстолобова — искривили его душу.

Настроение его было неровное, зыбкое, как трясина. Его взвинченному воображению то рисовались великие подвиги и слава, то позорный невиданный конец. От этого страшно скучало его сердце, он хотел открыться Татьяне в своем малодушии, но не хватало воли.

— Эх, какой я стал...

Была истоплена баня жаркая, Зыковская. Топил сам Зыков.

Степаниды не было, Тереха, захватив ружье, гайкал на весь лес, искал ее.

Таня сидела в своей горнице под раскрытым окном. Она вся еще была в прошлой ночи, улыбалась большими серыми глазами, прямые темные брови ее спокойны, сердце под черной шелковой кофтой бьется ровно, отчетливо. Как хорошо жить... Скорей бы приходил к ней Степан. Нет, никогда не надо думать о том, что будет завтра...

Зыков разделся. Кто-то ударил снаружи в дверь. Он отворил:

— А, Мишка!.. Ну, залазь.

Медвеженок, набычившись, косолапо вошел с обрывком веревки. Морда и глаза его улыбались по-хитрому. Облизал ноги Зыкову, повалился пред ним вверх брюхом, благодушно заурчал.

Зыков большим пальцем ноги почесал ему брюхо, потом взял винтовку, кинжал, десятифунтовую гирьку на ремне, револьвер, и вошел в мыльню. Эх, хороша баня, всю хворь прогонит. Зыков вымоется на всю жизнь теперь. Ну, баня.

Едва он окунул ковш в кадку с кипятком, куда бросали раскаленные камни, как во дворе раздался резкий залиvistый собачий лай, а в предбаннике рывкнул Мишка.

— Кой там чорт еще! — буркнул Зыков, ковш замер в его руке, а Таня всполошно отскочила от окна и глянула из-за кисейной занавески на двор.

Один за другим в'езжали в ворота всадники, их человек двадцать. Раздался выстрел, Таня заметалась, все, кроме одного, соскочили с коней.

— Занять выходы! Встать у каждой амбарушки! — деловито командовал всадник. Он с большими серыми глазами юноша, сухое загорелое лицо, кожаная, выцветшая по швам куртка, ствол винтовки из-за спины, кожаная шапка.

— Боже мой, Николенька, — всплеснув руками, прошептала Таня, и ноги ее подсеклись.

Голоса на дворе, нервные, крикливые, робкие, злые:

— Где хозяин? Эй, тетка!

— Нету, батюшки мои, нету... Бабу убег искать.

— Здесь Зыков? Ну?.. Говори! Где?!

— Ой-ой... Ничего я не знаю... Пареньки хорошие... Вот хозяин уже придет.

— Взять ее!

— Я знаю, где... — раздался хриплый голос. — А ну, робенки, побежим.

— Николенька, Николенька, — взмолила Таня. Держась за косяк, она полулежала на лавке у раскрытого окна.

Юноша слез с лошади, глянул через окно:

— Сестра!.. — И быстрым бегом в горницу. — Как, ты здесь?.. Татьяна... Тебя Зыков украл? Да?

— Нет... Я сама пошла к нему...

— К нему?.. Сама?!.. — лицо юноши вытянулось, и сама собой полезла на затылок

шапка. — К Зыкову?!

— Да. Сама, к Зыкову. — Девушка сразу преобразилась, встала и, сложив руки на груди, засверкала на брата взглядом.

— Татьяна! Ты ли это говоришь?

— Да, я говорю.

— Брось глупости, Татьяна. Ты вернешься с нами. Будем работать... Таня, сестра, голубка...

— Брат... Я люблю его. Умру за Зыкова.

Зыков отпрянул прочь от низкого оконца бани, и волосы его зашевелились: ему померещилось, что с улицы, к самому стеклу, сделав ладони козырьком, приник Наперсток.

Зыков закрестился, закричал:

— Покойник!.. Покойник!.. — и бессильно шлепнулся на пол.

Горбун толстогубо дышал в стекло, и оловянные глаза его шильями сверлили Зыкова, широкие ноздри раздувались.

— Здеся! — крикнул он, радостно подпрыгнул и ударил себя по бедрам: — Ей Бо, здеся!.. Хы!.. Как тут и был... Эй, робенки!..

Горбун рванул в баню дверь... Вдруг Мишка всплыл на дыбы и рывкнул. Наперсток в страхе отшатнулся, но Мишка свирепо двинул его лапой. Наперсток, как лягуха, пал на карачки, заорал. Красноармеец всадил меж лопаток Мишке нож, Мишка оскалил зубы, заплевался и бросился с ножом в лес, широко раскидывая передние ноги и мотая головой.

Внутреннюю дверь красноармейцы быстро снаружи приперли бревном.

— Эй! Живые или мертвые?! — кричал запертый Зыков.

— Живые!.. — хрипло взвизгивал в самую дверь Наперсток. — Ведь я, Зыков — батюшка, Степан Варфоломеич, колдун... Траву-кавыку жру. Ты меня в прорубь спустил, а я рядышком в другую вымырнул... Не досмотрел ты, маху дал... Хы-хы-хы!.. За долгишком к тебе пришел... Добрых людей привел.

— А не мертвый, будешь мертвый, собака! — крикнул Зыков.

Сжимая кулаки, юноша шипел:

— Не смей меня называть братом... Я не брат тебе...

— А ты не смей трогать Зыкова... Зыков мой муж! Слышишь? — шипела в ответ сестра.

— Дура, тварь...

— Ой, Боже...

— Тварь!.. Зыков бандит, палач, враг Советской власти. А ты... Еще последний раз говорю: опомнись. Скорей, Татьяна! Могут войти. Тшшш... — Он взмахнул предупреждающе рукой и обернулся к двери:

— Сейчас, товарищи!.. Одну минуту... — и к Тане: — Ну, решай. Со мной или с ним? Сестра, умоляю... Ради нашего детства...

— С ним.

Юноша на мгновение закрыл глаза ладонью.

— Поторопись, товарищ Мигунов!.. Зыкова нашли... В бане... — горячо дышали в дверях три красноармейца.

— Караульте эту! — твердо крикнул юноша. — Не выпускать...

— Скорей, товарищ Мигунов, скорей... — хрипел Наперсток, завидя Мигунова.

Рукава рваного его армяка по локоть засучены, фалды подоткнуты под кушак. Он жался к углу бани, повернувшись боком к бежавшему юноше. Горбун походил на широкоплечего мужика, которому обрубали по колена ноги, всего изувечили, башку отсекли и приткнули кой-как на уродливую грудь, из-под волосатого затылка торчал огромный горб, жирное, коричневое,

как сосновая кора, лицо обрюзгло, потекло сверху вниз, все в лишаях, кровоподтеках, ссадинах.

Юноша с брезгливостью окинул его взглядом.

Резко, коротко ударил выстрел.

— Ох, стреляет, чорт! — вскричал горбун.

Юноша покачнулся, мотнул ногой и, схватившись за живот, отпрыгнул в сторону.

В бане загремела брань и хохот.

Наперсток хватил в прискочку из-за угла дубиной и вышиб раму:

— Эй, вылазь добром!

— Убивают! Зыкова убивают! — Татьяна птицей выпорхнула из окна и понеслась.

— Стой! Стой! — гнались за ней красноармейцы и стреляли в воздух.

Петух с криком взлетывал, как ястреб, порхали утки, курицы.

Вдруг один красноармеец опрокинулся навзничь и стал недвижим. В бане опять раздался хохот Зыкова.

Наперсток неистово орал:

— Куда?!. Не бегай тут!.. Перестреляет всех!.. Убьет!

Татьяну смяли, поволокли, она билась, кричала, проклинала брата.

Юноша крепко стиснул зубы. Он был бледен, его колотила дрожь, в испугавшихся глазах металось страданье и смертельная тоска.

Собаки заливисто лаяли, растерянно крутили хвостами, но их глаза были люты и оскал зубов свиреп.

Из лесу выбежал Тереха Толстолобов, он остановился, вильнул взглядом туда-сюда и, сразу все поняв, бросился к бане:

— Что, Зыкова добываете? Бейте его, варнака! Жгите его!.. Через него баба моя задавилась... Ой-ты!..

Он шатался, как пьяный, весь был дик, походил на лишившегося рассудка.

— Тащи соломы да хворосту! Чего слюни распустили? — щелкая зубами и воя, кричал он.

Юноша сдерживал стоны и тихо охал. Он лежал на пуховике, под головой подушка.

— Навылет, товарищ Мигунов... Авось, обойдется, — маленький, черный, с черными усиками красноармеец, сбросив куртку, обматывал раненому поясницу и живот бинтом, бинт быстро смочился кровью. Рана была большая и рваная, от медвежачьего ружья.

Красноармейцы — бегом, вприпрыжку — тащили из дому холст и тряпки, стригли, рвали их лентами.

— Товарищ Суслов, — юноша поискал взглядом высокого, загорелого, с белой бородкой красноармейца. — В случае... вы будете командовать... Что, не вылезает? Поджигайте баню...

— Поджигай!..

— Поджигай!.. Где серянки?..

— Стой! Сдаюсь... — закричал Зыков.

— Стой! Сдается! Зыков сдается...

— Эй, Зыков! Давай оружие сюда.

— На! — он выбросил винтовку. — На еще, — выбросил пистолет. — Все. Отворяй дверь, выйду.

— Врешь, нож у тебя, — хрипел, сплевывая и матерясь, Наперсток. — Вижу, нож!

— Нету, все...

— Поджигай!

— На, на! — ножище сверкнул в окне, как на солнце щука. — Где Татьяна? Покличьте Татьяну сюда.

— Вылазь! Бросай гирию...

Гиря бомбой брякнулась на землю.

— Вылазь!

— Открой дверь, дай я оболочусь. Нагишем, что ли?

— Эге! нет, брат Зыков, — подмигнул горбун и отчаянно сморкнулся из ноздри. — Ты, этакий леший, выберешься, дубом тебя не свалить... Вылазь в окно!

Наперсток и другой плечистый красноармеец прижались к самой стене по обе стороны оконца. В их настороженных руках арканы.

— Вылазь!.. Вылазь, кляп те в рот! — в один голос закричали горбун и Тереха. — А то живьем сгоришь.

— Жги. Не вылезу нагишом. Где Татьяна? Жги.

— Ребята, подкаливай со всех углов!

Солома вспыхнула, густой желтый дым, загибаясь, повалил в баню.

— Сдаюсь, — упавшим немощным голосом сказал Зыков, лохматая голова и широченные плечи его, изогнувшись и царапаясь о косяки, показались в окне. Живо скрутили под мышками арканом и, как коня на поводу, человек десять красноармейцев повели его к Мигунову. Зыков давил ногами землю, словно великан, красноармейцы казались пред ним ребятами.

Наперсток, подбоченившись и слюняво похохатывая, ужимался, опаски ради, в стороне:

— Что, сволочь, хы-хы-хы, будешь честных людей под лед спускать? — Изверченное будто картечью лицо его подергивалось, подмигивало, облизывало толстые, покрытые пеной губищи. — Хотела синичка море зажегчи, море не зажгла, а сама потопла.

— Еще пострадавшие есть? — спросил Мигунов. Голос ослаб, прерывист.

— Алехин убит.

Мигунов неспешно, мутными глазами повел от голых коленей Зыкова вверх, чрез живот, чрез грудь, но до головы не добрался, голова где-то высоко, выше сосен, и в глазах Мигунова темнело.

— Расстрел на месте, — сказал он, приподняв и вновь опустив кисть умиравшей, вытянутой вдоль тела руки.

— За что расстрел? — глухо спросил Зыков. Он внешне был спокоен, но лицо потемнело от напряжения воли и потемнели серые глаза. — Я работал на помощь вам.

— Ха-ха! Хороша помощь! — наперебой закричала молодежь. — В городе сколь народу искромсал, вот начальника нашего изувечил, товарища убил.

— Анархия, разбой, Советская власть не потатчица, — резко проговорил Суслов.

— В городе расправлялся по-вашему. Сам в газетине читал, как вы кожу с живых сдираете.

— Врешь, брешут твои газетины! — кричали красноармейцы. — Контр-революционеры пишут твои газетины! Над мирным человеком сроду мы не изгалялись.

— Расстрел на месте, — открыв глаза, еще раз сказал Мигунов и быстро приподнялся на локте. — Пить.

Глаза его то вспыхивали, то погасали, как догоревшая лампа. Он жадно глотнул ключевой воды.

Зыкова повели. Он кричал:

— Что ж, милости у тебя, малец, просить не стану! И правде повреждения не сотворю! — Он остановился, и все остановились, он потянул за концы аркана, красноармейцы, взрывая землю пятками, надувшись и кряхтя, под'ехали к нему и захохотали:

— Ну, конь.

— А вот скажи мне на милость, — Зыков уставился в грудь, в мутные глаза сидевшего Мигунова. — Бога признаете вы, Господа нашего Иисуса Христа? — в голосе его было страданье, последний крик, настороженность.

Мигунов резко потряс головой:

— Нет.

Зыков закачался, по лицу, как ветер по озеру, пробежала судорога, он крикнул и твердо сказал:

— Стреляй тогда...

К нему вдруг вернулось спокойствие, лицо посветлело, на губах появилась улыбка и взор стал радостным, отрешенным от земли.

— На обрыв, на обрыв! Шагай на обрыв! — кричали сосны, люди, камни.

Зыков шагал уверенно и твердо, обернулся, проговорил Мигунову душевным голосом:

— Прости меня, милячок... Согрешил пред тобой... Ау! А жену мою Татьяну, — крикнул он громко, — не трог, ради Христа!.. Может, из-за нее гибну, а духом радостен. Ну, ладно. Других умел, сам умею... Прощай, солнце, прощай, месяц, прощай, звезды, прости, матушка сыра-земля.

И вновь закричали люди, закричали сосны, закричало небо и камни.

Наперсток с Терехой Толстолобовым трясли кулаками, хохотали в тыщу труб, плевались. Зыков ни разу за все время не взглянул на Тереху.

Мигунов застонал, повалился на бок, скорчился, зачмокал губами, во рту было сухо, горько.

— Пить...

Возле него на коленях и на корточках четверо красноармейцев, среди них — Суслов, в круглых очках с остренькой белой бородкой. Лукерья, всхлипывая и кривя рот, сновала от умирающего в избу и обратно, тащила то святой воды, то ручник, то какого-то снадобья в пузырьке, вот принесла черную в светлом венчике икону, поставила и в изголовье умирающего, закрестилась.

Грянули выстрелы. Лукерья ойкнула, подпрыгнула и, заткнув уши, побежала домой.

Мигунов открыл глаза:

— Красному зна... Товарищ Суслов... — голос слабел, углы рта подергивались, дыхание было короткое, горячее, большие, как у сестры глаза глядели в пустоту. — Там, в городе... Целую красное знамя... передайте... Умираю... Девчонку расстрелять...

— Она ваша сестра, товарищ... — откликнулся Суслов, зашевелил бровями, очки на переносице запрыгали. — Она говорила, что...

Мигунов поймал ртом воздух.

— Расстрелять, — и глаза его стали стеклянными.

Татьяна стояла на краю обрыва, как на облаке. Она не чувствовала ни своего тела, ни страха, ни земли.

Кто-то звонкоголосо, страшно кричал, раскачивая небо:

— Ха-ха... Сейчас к дружку кувырнешься, свадьбу править.

Татьяна оглянулась как во сне. Обрыв глубок и камни остры. Меж серых остряков застряло желтое, большое. Узнала: Зыков. Глаза ее мгновенно расширились и сузились. Все плыло, качалось пред ее глазами.

Восемь винтовок, как черные пальцы, прямо указали ей на грудь.

— Пли!!.

Но залп прогремел в пустую: Татьяны не было, пули унеслись в тайгу.

Наперсток вырвал у кого-то топор и, гогоча, бросился лохматым чортом к пропасти, где лежали два мертвые тела, он с проворством рыси начал было спускаться, но две железных руки схватили его за опояску, встряхнули и вытащили вверх. Наперсток опамятовался, дышал хрипло, глаза налились кровью и вертелись, как у сыча. Он сбросил шапку, отер полый потное лицо и, протягивая руку Суслову, сказал:

— С благополучным окончанием дел... А кто? Я все. Кабы не я, — чорта лысого вам Зыкова сыскать... Ручку!

Суслов быстро убрал свои руки назад.

— Наградишка-то будет, ай не? — и широкий рот горбуна скривился в подхалимной, как грязная слизь, улыбке.

Суслов отступил на два шага и громко сказал:

— Бывший партизан Наперсток за кровожадную бессмысленную жестокость, проявленную им при разгроме города...

Наперсток радостно улыбался, торжествующе поглядывая в застывшие лица красноармейцев, он не слышал, что говорит товарищ Суслов, и только одно слово, как полымя, пронизало оба его уха:

— Расстрел.

— Хы-хы-хы, — ничего не соображая, бессмысленно загоготал Наперсток, однако глаза его заматались от лица к лицу и сразу провалились, как в яму, в рот товарища Суслова.

— Взять! — резко открылся и закрылся рот.

Наперсток сразу вырос на аршин, сразу до земли согнулся. Залп — и уродливое тело его заскакало по камням в смерть.

Был поздний вечер, тихий и теплый. Девки пригнали коров и овец. Двор оживился.

Над свежей могилой под зеленой лиственницей, куда зарывали двух красноармейцев, прогремел последний залп в память со славою погибших. Пели революционные псалмы и стихиры. Товарищ Суслов говорил речь.

Тереха Толстолобов с красноармейцем поехали «на вершних» в лес, сняли удавленницу-Степаниду с петли и привезли домой. Тереха положил ее в той комнате, где ночевала Таня, зажег лампадку и свечи, крякал, пил вино, утром собирался за попом. Но ему был дан приказ — с зарею вывести отряд на дорогу.

Красноармейцы торопливо обстругивали большой надмогильный крест, Суслов сделал надпись. Крест белел даже среди ночи, на нем висел из хвой венки.

Ночь была холодная, как в сентябре, серпом стоял в небе месяц...

Утро было все в тумане. Тереха повел отряд. Лукерья с девками боялись мертвецов, ушли в лес.

И опять спустилась ночь, темная, без звезд и месяца.

В пропасти кучкой лежали трое: кержак, каторжник и купеческая дочь. В избе, с темным и страшным лицом — Степанида. Возле заимки, с ржавым меж лопатками ножом, уткнув в мох морду, — медвежонок.

Заимка была пуста. Слеталось коршунье.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net](http://BooksCafe.Net)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)



Пимы — валенки.



Чалдон — коренной сибиряк-крестьянин.